

Генри  
Филдинг

Избранные  
сочинения



Генри Филдинг

**История приключений  
Джозефа Эндруса и его  
друга Абраама Адамса**

«Библиотечный фонд»

1742

## **Филдинг Г.**

История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса / Г. Филдинг — «Библиотечный фонд», 1742

Роман «Джозеф Эндрус» кажется многолюдным, но пастор Адамс, бредущий в Лондон искать издателя для своих проповедей, выведет читателя на эпический простор. Чего мы могли ожидать от Джозефа, озабоченного сохранением своего целомудрия? Только героического поведения в альковных сценах. А пастор вывел нас на дорогу, кишашую людьми, которые делают нужную в жизни работу: обирают постояльцев, остаются без гроша за душой, грабят кареты, помогают страждущему, обижают безответного – разнообразно живет дорога!

## Содержание

Предисловие автора	5
Книга первая	11
Глава I	11
Глава II	13
Глава III	16
Глава IV	19
Глава V	21
Глава VI	23
Глава VII	26
Глава VIII,	29
Глава IX	33
Глава X	36
Глава XI	38
Глава XII,	40
Глава XIII	45
Глава XIV,	48
Глава XV,	52
Глава XVI	55
Глава XVII	61
Глава XVIII	66
Книга вторая	68
Глава I	68
Глава II	70
Глава III	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

# Генри Филдинг

## История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса

### написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон Кихота

#### Предисловие автора

Так как простой английский читатель, возможно, держится иного понятия о романе, чем автор этих небольших томов <sup>1</sup>, и, значит, напрасно станет ожидать такого развлечения, какого ему не доставят, да и не предназначены доставить последующие страницы, – то, может быть, не лишним будет предпослать им несколько слов о литературе того рода, в котором до сей поры никто еще, насколько я помню, не пытался писать на нашем языке.

Эпос, как и драма, делится на трагедию и комедию. Гомер, отец эпической поэзии, дал нам образцы и того и другого; правда, созданное им комическое произведение безвозвратно потеряно, однако Аристотель сообщает, что оно так же относилось к комедии, как «Илиада» к драме. <sup>2</sup> И может быть, отсутствие такого рода комических поэм у античных авторов объясняется именно утратой того первого образца, который, сохранись он в целостности, нашел бы своих подражателей наравне с другими поэмами великого создателя прообразов.

Далее, если эпос может быть и трагическим и комическим, то равным образом, позволю я себе сказать, он возможен и в стихах и в прозе: в самом деле, пусть не хватает ему одного из признаков, которыми критики определяют эпическую поэму, а именно метра, все же, когда в произведении содержатся все Прочие признаки, как фабула, действие, типы, суждения и слог, и отсутствует один только метр, – правильно будет, думается мне, отнести его к эпосу; тем более что ни один критик не почел нужным зачислить его в какой-либо другой разряд или же дать ему особое наименование.

Так «Телемак» архиепископа Камбрейского <sup>3</sup> представляется мне произведением эпическим, как и «Одиссея» Гомера; в самом деле, гораздо правильней и разумней дать ему такое же название, как тем произведениям, от которых он отличается только по одному признаку, нежели объединять в один разряд с теми, на какие он не походит ничем: а таковы объемистые труды, обычно именуемые романами, – «Клелия», «Клеопатра», «Астрея», «Кассандра», «Великий Кир» и неисчислимое множество других, в которых, на мой взгляд, содержится очень мало поучительного или занимательного. <sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> «Джозеф Эндрус» вышел в свет (22 февраля 1742 г.) в двух томах в двенадцатую долю листа (с мужскую ладонь). В течение года вышло два переиздания.

<sup>2</sup> Аристотель («Об искусстве поэзии», гл. IV) ошибочно приписывал Гомеру поэму «Маргит» (возникла не позже VI в. до н. э.).

<sup>3</sup> Философско-утопический роман «Приключения Телемака» (1699) Ф. Фенелона (1651 – 1715) внешне представлял собой рассказ о странствиях Телемака, сопровождаемого наставником Ментором, в поисках своего отца Улисса (Одиссея). Роман выдержал в Англии в 1700 – 1740 гг. свыше двадцати изданий.

<sup>4</sup> Здесь названы чрезвычайно распространенные в Англии пасторальный роман «Астрея» (опубл. 1607 – 1628 гг.) О.д'Юрфе (1567 – 1625) и галантно-авантюрные («прециозные») романы «Клелия, или Римская история» (1654 – 1661) и «Артамон, или Великий Кир» (1649 – 1653) М. де Скюдери (1608 – 1701) и «Кассандра» (1642 – 1645) и «Клеопатра» (1647 – 1656) Г. де Ла Кальпренеда (1614 – 1663). Все это многотомные повествования.

Итак, комический роман есть комедийная эпическая поэма в прозе; от комедии он отличается тем же, чем серьезная эпическая поэма от трагедии: действию его свойственна большая длительность и больший охват; круг событий, описанных в нем, много шире, а действующие лица более разнообразны. От серьезного романа он отличается своею фабулой и действием: там они важны и торжественны, здесь же легки и забавны. Отличается комический роман и действующими лицами, так как выводит особ низших сословий и, следовательно, описывает более низменные нравы, тогда как серьезный роман показывает нам все самое высокое. Наконец, он отличается своими суждениями и слогом, подчеркивая не возвышенное, а смешное. В слог, мне думается, здесь иногда допустим даже бурлеск, чему немало встретится примеров в этой книге <sup>5</sup>, – при описании битв и в некоторых иных местах, которые не обязательно указывать осведомленному в классике читателю, для развлечения коего главным образом и рассчитаны эти пародии или шуточные подражания.

Но допустив такую манеру кое-где в нашем слог, мы в области суждений и характеров тщательно ее избегали: потому что здесь это всегда неуместно, – разве что при сочинении бурлеска, каковым этот наш труд отнюдь не является. В самом деле, из всех типов литературного письма нет двух, более друг от друга отличных, чем комический и бурлеск; последний всегда выводит напоказ уродливое и неестественное, и здесь, если разобраться, наслаждение возникает из неожиданной нелепости, как, например, из того, что низшему придан облик высшего, или наоборот; тогда как в первом мы всегда должны строго придерживаться природы, от правдивого подражания которой и будет проистекать все удовольствие, какое мы можем таким образом доставить разумному читателю. Есть причина, почему комическому писателю менее, чем всякому другому, простительно уклонение от природы: ведь серьезному поэту иной раз не так-то легко встретить великое и достойное; а смешное жизнь предлагает внимательному наблюдателю на каждом шагу.

Я заговорил здесь о бурлеске потому, что мне часто доводилось слышать, как присваивалось это наименование произведениям по сути дела комическим из-за того только, что автор иногда допускал бурлеск в своем слог; а слог, поскольку он является одеждой поэзии, как и одежда людей, в большей мере определяет суждение толпы о характере (тут – всей поэмы, там – человека в целом), чем любое из их величайших достоинств. Но, разумеется, некоторая игривость слога там, где характеры и чувства вполне естественны, еще не есть бурлеск, – как другому произведению пустая напыщенность и торжественность слов при ничтожестве и низменности всего замысла не дает права называться истинно возвышенным.

И мне думается, суждение милорда Шефтсбери о чистом бурлеске сходится с моим, когда он утверждает, что подобного рода писаний у древних мы не находим <sup>6</sup>. Но у меня, пожалуй, нет такого отвращения к бурлеску, какое высказывал он; и не потому, что в области бурлеска я стяжал на сцене некоторый успех, – нет, скорей потому, что ничто другое не дает повода для столь искреннего веселья и смеха; а веселый смех, быть может, самое целебное лекарство для духа и больше способствует изгнанию сплина, меланхолии и прочих болезней, чем это обычно предполагают. Сошлюсь на то, что наблюдалось многими: разве не правда, что одни и те же люди бывают благодушней и доброжелательней в общении после того, как они два-три часа услаждались подобным веселым развлечением, нежели после того, как их дух угнетали трагедией или торжественным чтением?

Но возьмем пример из другой области искусства, и тогда, быть может, это различие выступит перед нами отчетливей: сопоставим творения комического художника-бытописа-

---

<sup>5</sup> Бурлеска (бурлеск) – вид комической, пародийной поэзии и драматургии, построенный на контрасте между темой и ее воплощением: «возвышенное» трактуется приземленно, «низкое» излагается «высоким штилем». Возникла в Древней Греции, приобрела особую популярность в XVII – XVIII вв. как реакция на торжественный «тон» классицизма.

<sup>6</sup> Суждение о бурлеске содержится в «Опыте о свободе острого ума и независимого расположения духа» (ч. I, раздел I; 1709) А. Шефтсбери.

теля с теми произведениями, которые итальянцы называют «*caricatura*»; здесь мы найдем, что истинное превосходство первых состоит в более точном копировании природы; так что взыскательный глаз тотчас отвергнет всякое «*outré*»<sup>7</sup>, малейшую вольность, допущенную художником по отношению к этой «*almae matris*»<sup>8</sup>. Между тем в карикатуре мы допускаем любой произвол; цель ее – выставить напоказ чудовища, а не людей; и всяческие искажения и преувеличения здесь вполне у места.

Итак: то, что есть карикатура в живописи, то бурлеск в словесности; и в том же соотношении стоят комический писатель и комический художник. И здесь я замечу, что если в первом случае у художника есть как будто некоторое преимущество, то во втором оно на стороне писателя – и притом бесконечно большее: потому что чудовищное много легче изобразить, чем описать; смешное же легче описать, чем изобразить.

И хотя, быть может, комическое – будь то живопись или словесность – не действует так сильно на мускулы лица, как бурлеск или карикатура, все же, я думаю, надо признать, что оно доставляет удовольствие более разумное и полезное. Тот, кто назовет остроумного Хогарта мастером бурлеска в живописи, тот, по-моему, не отдаст ему должного; ибо, конечно же, куда легче, куда менее достойно удивления, изображая человека, придать ему несообразных размеров нос или другую черту лица либо выставить его в какой-нибудь нелепой или уродливой позе, нежели выразить на полотне человеческие наклонности. Почитается большой похвалой, если о живописце говорят, что образы его «как будто дышат»; но, конечно, более высокой и благородной оценкой будет утверждение, что они «словно бы думают»<sup>9</sup>.

Но вернемся назад. В область настоящего моего труда, как я уже сказал, входит только Смешное. И читатель не сочтет здесь неуместным некоторое пояснение к этому слову, если вспомнит, как превратно понимают его даже те авторы, которые избрали Смешное своим предметом: ибо чему же, как не такому непониманию, должны мы приписать многочисленные попытки высмеивания чернейшей подлости и, что еще того хуже, самых страшных несчастий? Кто может превзойти в нелепости автора, который напишет «Комедию о Нероне с веселой сценкой, где он вспарывает живот своей матери»? Или что могло бы сильнее оскорбить человеческое чувство, чем попытка выставить на посмеяние невзгоды нищих и страдающих? А между тем читатель, даже не обладая большой ученостью, без труда вспомнит ряд подобных примеров.

Может показаться примечательным, что Аристотель, так любивший определения и столь щедрый на них, не почел нужным определить Смешное. Правда, говоря, что оно свойственно комедии, он указал между прочим, что подлость не является предметом Смешного<sup>10</sup>; но, насколько я помню, он не утверждает положительно, что же таковым является. Также и аббат Бельгард, написавший трактат по этому вопросу и показывающий в нем много разных видов Смешного, ни разу не проследил ни одного из них до истока.<sup>11</sup>

Единственный источник истинно Смешного есть (как мне кажется) притворство. Но хотя Смешное и возникает из одного родника, мы, когда подумаем о бесчисленных ручьях, на которые разветвляется его поток, перестаем удивляться тому, сколько можно почерпнуть из него наблюдений. Далее, притворство происходит от следующих двух причин: тщеславия и лице-

---

<sup>7</sup> Преувеличенное (*фр.*).

<sup>8</sup> Матери-кормилице (*лат.*).

<sup>9</sup> Ср. с отзывом Филдинга о гравюре Хогарта «Взбешенный музыкант» (с. 590). Что касается высказанных здесь мыслей о комическом и карикатуре в живописи, то они явно помогли У. Хогарту (1697 – 1764) уточнить и развить свое понимание «характера» – в билете «Характеры и карикатуры» (1743), где он прямо ссылался на «Предисловие» к «Джозефу Эндрусу», и в главе XI «Анализа красоты» (1753). Этой книги Филдинг, наверное, не успел увидеть.

<sup>10</sup> У Аристотеля это выражено так: «Комедия... есть воспроизведение худших людей, однако не в смысле полной порочности...» («Об искусстве поэзии», гл. V).

<sup>11</sup> Имеется в виду трактат «Рассуждения о смешных положениях и способах избежать их» (1696) Ж.-Б.-М. де Бельгарда (1648 – 1734).

мерия; ибо как тщеславие побуждает нас надевать на себя личину с целью снискать похвалу, так лицемерие заставляет нас избегать осуждения, скрывая наши пороки под видимостью противоположных им добродетелей. И хотя эти две причины часто смешивают (потому что различать их затруднительно), однако же и вызываются они совершенно разными побуждениями и в проявлениях своих явственно различны: ибо в самом деле притворство, возникающее из тщеславия, ближе к правде, чем притворство другого вида; ему не приходится бороться с тем сильным противодействием природы, с каким борется притворство лицемера. Нужно к тому же отметить, что притворство не означает полного отсутствия изображаемых им качеств: правда, когда оно порождается лицемерием, оно тесно связано с обманом; однако же там, где его источник – тщеславие, оно становится сродни скорее чванству: так, например, притворная щедрость тщеславного человека явственно отличима от притворной щедрости скупца; пусть тщеславный человек не то, чем он представляется, пусть не обладает добродетелью, в какую он рядится, чтобы думали, будто она ему свойственна; однако же наряд сидит на нем не так неловко, как на скупце, который являет собою прямо обратное тому, чем он хочет казаться.

Из распознавания притворства и возникает Смешное, – что всегда поражает читателя неожиданностью и доставляет удовольствие; притом в большей степени тогда, когда притворство порождено было не тщеславием, а лицемерием; ведь если открывается, что человек представляет собой нечто как раз обратное тому, что он собой изображал, это более неожиданно и, значит, более смешно, чем если выясняется, что в нем маловато тех качеств, которыми он хотел бы славиться. Могу отметить, что наш Бен Джонсон, который лучше всех на свете понимал Смешное, изобличает по преимуществу притворство лицемерное.

И только при наличии притворства могут стать предметом смеха житейские невзгоды и несчастья или физические изъяны. Только человеку извращенного ума безобразие, увечье или бедность могут казаться смешными сами по себе; и я не думаю, чтобы хоть у одного человека в мире встреча с грязным оборванцем, едущим в телеге, вызвала желание смеяться; но если вы увидите, как та же фигура выходит из кареты шестерней или соскакивает с портшеза, держа шляпу под мышкой, вы рассмеетесь – и с полным правом. Равным образом, если нам доведется войти в дом бедняка и увидеть несчастную семью, дрожащую от стужи и мучимую голодом, это нас не расположит к смеху (или вы должны отличаться поистине дьявольской жестокостью); но если в том же доме мы обнаружим очаг, украшенный вместо угля цветами, пустые блюда или фарфор на буфете или иное какое-либо притязание на богатство и утонченность – в самих ли людях или в обстановке, – тогда, право, нам извинительно будет посмеяться над таким фантастическим зрелищем. Еще того менее могут быть предметом насмешки физические изъяны; но когда безобразие тщится стяжать славу красоты или когда хромота силится изобразить ловкость, – вот тогда эти несчастные обстоятельства, сперва склонявшие нас к состраданию, начинают вызывать одно лишь веселье.

Поэт проводит эту мысль еще дальше:

Ты тот, что есть, – тебя нельзя винить:  
Виновен, кто не тот, кем хочет слыть.<sup>12</sup>

Если б размер стиха позволил заменить слова «винить» и «виновен» словами «высмеивать» и «смешон», мысль, пожалуй, была бы еще правильной. Крупные пороки достойны нашей ненависти; мелкие недостатки достойны сожаления; и только притворство кажется мне подлинным источником Смешного.

Но мне, пожалуй, могут возразить, что я, наперекор своим собственным правилам, изобразил в этом труде пороки – и пороки самые черные. На это я отвечу: во-первых, очень трудно

<sup>12</sup> Строки из поэмы драматурга У. Конгрива (1670 – 1729) «О любезности. Послание сэру Уильяму Темплу».

описать длинный ряд человеческих поступков и не коснуться пороков. Во-вторых, те пороки, какие встречаются здесь, являются скорее случайным следствием той или иной человеческой слабости или некоторой шаткости, а не началом, постоянно существующим в душе. В-третьих, они неизменно выставляются не как предмет смеха, а лишь как предмет отвращения. В-четвертых, ими никогда не наделяется главное лицо, действующее в данное время на сцене; и, наконец, здесь никогда порок не преуспевает в свершении задуманного зла.

Указав, таким образом, в чем различие между «Джозефом Эндрусом» и творениями авторов-романистов, с одной стороны, и авторов бурлеска – с другой, и сделав несколько кратких замечаний (большее не входило в мои намерения) об этом виде словесности, до сих пор, как я отметил, не испытанном на нашем языке, – я предоставлю благосклонному читателю судить мою вещь на основе моих же замечаний и, не задерживая его дольше, скажу еще лишь несколько слов о действующих лицах своего произведения.

Торжественно сим заявляю, что в мои намерения не входило кого-либо очернить или предать поношению: ибо, хотя здесь все списано с Книги Природы и едва ли хоть одно из выведенных лиц или действий не взяты мною из собственных наблюдений и опыта, – все же я всемерно постарался замаскировать личности столь разными обстоятельствами, званиями и красками, что будет невозможно хотя бы с малой степенью вероятия их разгадать; а если и покажется иначе, то лишь там, где изображаемый недостаток так незначителен, что является только слабостью, над которой сам обладатель ее может посмеяться наравне со всеми.

Что касается фигуры Адамса, самой примечательной в этой книге, то подобной, мне думается, не встретишь ни в одной из ныне существующих книг. Она задумана как образец совершенной простоты; и доброта его сердца, расположив к нему всех хороших людей, оправдывает меня, надеюсь, в глазах джентльменов духовного звания, к которым, когда они достойны своего священного сана, никто, быть может, не питает большего почтения, чем я. Поэтому, невзирая на низменные приключения, в коих участвует мой герой, они мне простят, что я его сделал священником: никакая другая профессия не доставила бы ему так много случаев проявить свои высокие достоинства.



## Книга первая

### Глава I

#### О биографиях вообще и биографии Памелы в частности; и попутно несколько слов о Колли Сиббере и других

Старо, но правильно замечание, что примеры действуют на ум сильнее, чем прописи. И если это справедливо для мерзкого и предосудительного, то тем более для приятного и достохвального. Здесь соревнование возвышает нас и непреодолимо побуждает к подражанию. Поэтому хороший человек есть живой урок для всех своих знакомых, и в узком кругу он неизмеримо более полезен, чем хорошая книга.

Но часто случается, что самые лучшие люди мало известны, и, значит, полезный их пример не может оказать воздействия на многих; и вот тогда на помощь может быть призван писатель, который расскажет их историю и нарисует их привлекательные образы для тех, кому не выпало счастья быть знакомым с оригиналами портретов; таким образом, делая достоянием всего мира эти ценные примеры, он может, пожалуй, оказать человечеству большую услугу, чем то лицо, чью жизнь он взял прообразом для своего повествования.

В таком свете мне представлялись всегда биографы, описавшие деяния великих и достойных особ того и другого пола. Я не стану ссылаться на древних авторов, которых в наши дни читают мало, потому что писали они на забытых и, как думают обычно, трудных языках, — на Плутарха, Непота и других, о ком я слышал в юности; и на нашем родном языке написано немало полезного и поучительного, мудро рассчитанного на то, чтобы сеять в молодежи семена добродетели, и очень легко усваиваемого лицами самых скромных способностей. Такова история Джона Великого, который своими отважными героическими схватками с людьми большого роста и атлетического сложения снискал славное прозвание «Победителя Великанов»; история некоего графа Варвика, нареченного при крещении Гаем; жизнеописания Аргала и Парфении; и прежде всего — история семи достойнейших мужей, поборников христианства<sup>13</sup>. Все эти произведения занимательны и вместе с тем поучительны и не только развлекают читателя, но почти в той же мере облагораживают его.

Но я оставлю их в стороне, как и многое другое, и назову только две книги, которые недавно вышли в свет и дают нам удивительные образцы приятного как среди сильного, так и среди слабого пола. Первая из них, рисующая добродетель в мужчине, написана от первого лица великим человеком, который сам прожил изображенную им жизнь и, как полагают многие, лишь затем, чтобы ее описать. Другой образец нам преподносит историк, который, следуя общепринятому методу, почерпнул свои сведения из подлинных записей и документов. Читатель, я думаю, уже догадался, что я говорю о жизнеописаниях господина Колли Сиббера и госпожи Памелы Эндрус<sup>14</sup>. Как тонко первый, упоминая словно бы вскользь, что он избежал назначений на высшие церковные и государственные посты, учит нас презрению к славе земной! Как настоятельно внушает он нам необходимость безоговорочного подчинения высшим! И наконец, как он отменно вооружает нас против самой беспокойной, самой губительной

---

<sup>13</sup> Эти сказки и средневековые предания (в прозе и в стихах, анонимные и авторские) переиздавались еще во времена Филдинга и пользовались популярностью — особенно в провинции.

<sup>14</sup> «Апология жизни мистера Колли Сиббера, актера и бывшего совладельца Королевского театра... Написана им самим» вышла в апреле 1740 г.; «Памела, или Вознагражденная добродетель» — 6 ноября 1740 г.

страсти – против боязни позора! Как убедительно изобличает пустоту и суетность призрака, именуемого Репутацией!

Чему поучают читательниц мемуары миссис Эндрус, так ясно выражено в превосходных пробах пера, или письмах, предпосланных второму и последующим изданиям одного произведения, что повторять это здесь бесполезно. Доподлинная история, ныне предлагаемая мной вниманию читателей, сама служит образцом того, как много добра может породить эта книга, и выявляет великую силу живого примера, уже отмеченную мной: ибо здесь будет показано, что лишь безупречная добродетель сестры, неизменно стоявшая перед духовным взором мистера Джозефа Эндруса, позволила ему сохранить чистоту среди столь великих искушений. И я добавлю только, что целомудрие – качество, несомненно, в равной мере уместное и желательное как в одной половине рода человеческого, так и в другой, – является едва ли не единственной добродетелью, которую великий апологет не присвоил себе, дабы явить пример своим читателям.

## Глава II

### О мистере Джозефе Эндрусе, о его рождении, происхождении, воспитании и великих дарованиях, и в добавление несколько слов о его предках

Мистер Джозеф Эндрус, герой нашей повести, считался единственным сыном Гаффера и Гаммер Эндрусов<sup>15</sup> и братом знаменитой Памелы, столь прославившейся в наши дни своею добродетелью. Относительно предков его скажу, что мы искали их с превеликим усердием и малым успехом: нам не удалось проследить их далее прадеда его, который, как утверждает один престарелый обитатель здешнего прихода со слов своего отца, был бесподобным масте-ром игры в дубинки. Были ли у него какие-либо предки ранее, предоставляем судить нашему любознательному читателю, поскольку сами мы не нашли в источниках ничего достоверного. Не преминем, однако же, привести здесь некую эпитафию, которую нам сообщил один наш остроумный друг:

Стой, путник, ибо здесь почил глубоким сном  
Тот Эндрю-весельчак, что всем нам был знаком.  
Лишь в Судный день, когда окрасит небосклон  
Заря Последняя, из гроба встанет он.  
Веселым быть спешите: когда придет конец,  
Печальней будешь ты, чем кельи сей жилец.

Слова на камне почти стерлись от времени. Но едва ли нужно указывать, что «Эндрю» здесь написано без «с» в конце и, значит, является именем, а не фамилией. К тому же мой друг высказал предположение, что эпитафия эта относится к основателю секты смеющихся философов, получившей впоследствии наименование «Эндрю-затейников»<sup>16</sup>.

Итак, отбрасывая обстоятельство, не слишком существенное, хоть оно и упомянуто здесь в сообразности с точными правилами жизнеописания, – я перехожу к предметам более значительным. В самом деле, вполне достоверно, что по количеству предков мой герой не уступал любому человеку на земле; и, может быть, если заглянуть на пять или шесть веков назад, он окажется в родстве с особами, ныне весьма высокими, чьи предки полвека назад пребывали в такой же безвестности. Но допустим, аргументации ради, что у него вовсе не было предков и что он, по современному выражению, «выскочил из навозной кучи», подобно тому, как афиняне притязали на возникновение из земли: разве этот *autochoros*<sup>17</sup> не имеет по справедливости всех прав на похвалы, коих достойны его собственные добродетели? Разве не жестоко было бы человека, не имеющего предков, лишать на этом основании возможности стяжать почет, когда мы столь часто видим, как люди, не обладая добродетелями, наслаждаются почетом, заслуженным их праотцами?

Десяти лет от роду (к этому времени его обучили чтению и письму) Джозеф был отдан в услужение к сэру Томасу Буби, дяде мистера Буби с отцовской стороны<sup>18</sup>. Сэр Томас был в ту

---

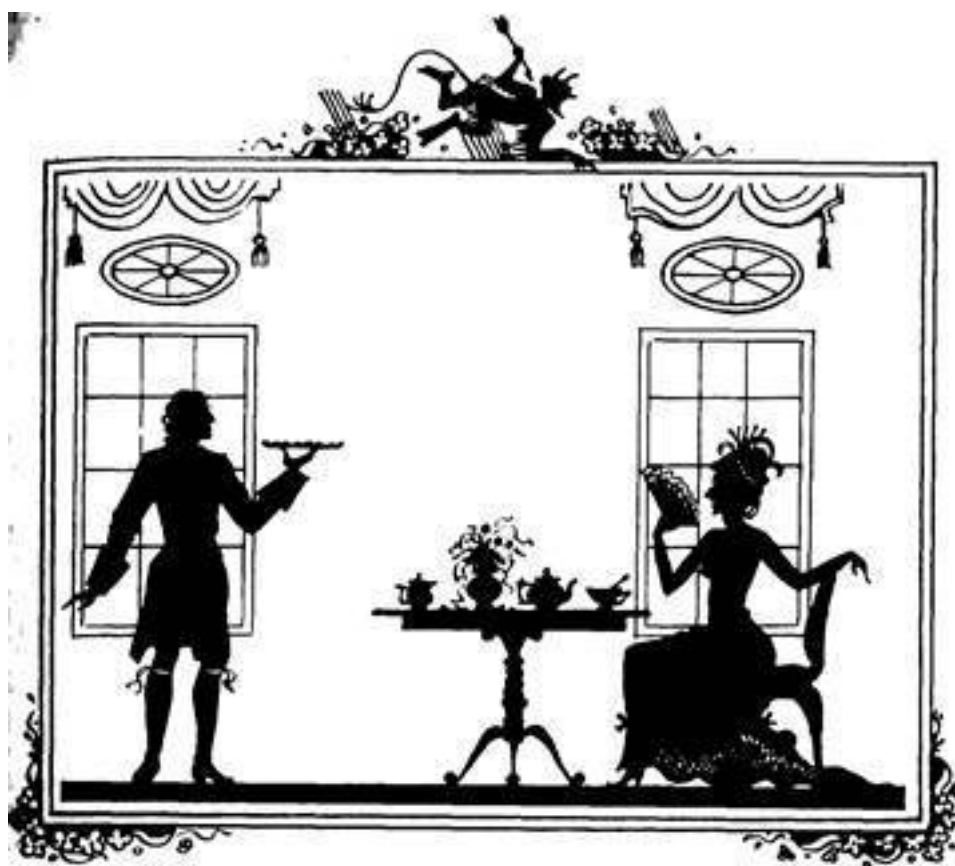
<sup>15</sup> Простонародные формы слов *grandfather* и *grandmother* в значении: родители, то есть, соответственно, «папаша» и «мамаша». Родителей Памелы (у Ричардсона) звали Джон и Элизабет.

<sup>16</sup> Это словосочетание означает: шут, подручный шарлатана (то есть уличного торговца травами и снадобьями). Традиционный прототип – врач Эндрю Борд (ум. 1549) – многими этимологами оспаривается.

<sup>17</sup> переводе с греческого: возникший из кучи навоза. (Примеч. автора.)

<sup>18</sup> Мистер Б. – герой «Памелы» Ричардсона; Филдинг раскрывает инициал. Буби по-английски означает: болван, олух.

пору владельцем поместья, и юному Эндрусу сперва препоручили, как это зовется в деревне, «отваживать птиц». На его обязанности было выполнять ту роль, которую древние приписывали Приапу – божеству, известному в наши дни под именем Джека Простака <sup>19</sup>; но так как голос его, необычайно музыкальный, скорее приманивал птиц, чем устрашал их, мальчика вскоре перевели с полей на псарню, где он нес службу под началом ловчего и был тем, что охотники называют «захлопщиком». Для этой должности он тоже оказался непригоден из-за нежного своего голоса, так как собаки предпочитали его мелодическую брань призывному гикю ловчего, которому вскоре так это надоело, что он стал просить сэра Томаса пристроить Джозефа как-нибудь иначе, и постоянно все проступки собак ставил в вину злополучному мальчику, которого перевели наконец на конюшню. Здесь Джозеф вскоре выказал себя не по годам сильным и ловким и, когда вел коней на водопой, всегда садился на самого резвого и норовистого скакуна, поражая всех своим бесстрашием. За то время, что он находился при лошадях, он несколько раз проводил скачки для сэра Томаса – и с таким искусством и успехом, что соседи помещики стали зачастую обращаться к баронету с просьбою разрешить маленькому Джойи (так его звали тогда) проскакать для них на состязаниях. Самые ярые игроки, прежде чем биться об заклад, всегда справлялись, на какой лошади скачет маленький Джойи, и ставили скорее на наездника, чем на лошадь, – особенно после того как мальчик с презрением отклонил крупную мзду, предложенную ему с тем, чтобы он дал себя обскакать. Это еще более упрочило его репутацию и так понравилось леди Буби, что она пожелала приблизить его к себе в качестве личного слуги (ему исполнилось теперь семнадцать лет).



<sup>19</sup> Приап – греческий бог плодородия, хранитель виноградников и садов, где обычно и устанавливалось его изображение, служившее заодно пугалом. Чучело «Джека Простака» устанавливали в Англии в великий пост, его забрасывали камнями и грязью. Филдинг упоминает его в значении огородного пугала.

Джойи взяли с конюшни и велели прислуживать госпоже: он бегал по ее поручениям, стоял за ее стулом, подавал ей чай и нес молитвенник, когда она ходила в церковь; там его прекрасный голос доставлял ему возможность отличиться при пении псалмов. Да и в других отношениях он так отменно вел себя в церкви, что это привлекло к нему внимание священника, мистера Абраама Адамса, который однажды, когда зашел на кухню к сэру Томасу выпить кружку эля, решил задать Джозефу несколько вопросов по закону божью. Ответы юноши пришлись священнику чрезвычайно по нраву.

### Глава III

## О священнике мистере Абрааме Адамсе, о камеристке миссис Слипслоп и о других

Мистер Абраам Адаме был высокообразованным человеком. Он в совершенстве владел латинским и греческим языками; и в добавление к тому был изрядно знаком с наречиями Востока, а также читал и переводил с французского, итальянского и испанского. Много лет он положил на самое усердное учение и накопил запас знаний, какой не часто встретишь и у лиц, кончивших университет. Кроме того, он был человеком благоразумным, благородным и благожелательным, но в то же время в путях мирских столь же был неискушен, как впервые вступивший на них младенец. Сам несклонный к обману, он и других никогда не подозревал в желании обмануть. Мистер Адамс был великодушен, дружелюбен и отважен до предела; но главным его качеством была простота: он не более мистера Колли Сиббера догадывался о существовании в мире таких страстей, как злоба или зависть, – что, правда, в деревенском священнике менее примечательно, чем в джентльмене, прошедшем свою жизнь за кулисами театров – месте, которое едва ли кто назвал бы школою невинности и где самое беглое наблюдение могло бы убедить великого апологета, что эти страсти на самом деле существуют в душе человека.

Благодаря своим добродетелям и другим совершенствам мистер Адамс не только был вполне достоин своего сана, но и являлся приятным и ценным собеседником и так расположил в свою пользу одного епископа, что к пятидесяти годам был обеспечен прекрасным доходом в двадцать три фунта в год, при котором, однако, не мог занять видного положения в свете, потому что проживал он в местности, где жизнь дорога, и был несколько обременен семьей, состоявшей из жены и шестерых Детей.

Этот-то джентльмен, обратив внимание, как я упомянул, на необычайную набожность юного Эндруса, улучил время задать ему несколько вопросов: из скольких книг, например, состоит Новый завет? из каких именно? сколько каждая из них содержит глав? и тому подобное; и на все это, как сообщил кое-кому мистер Адамс, юноша ответил много лучше, чем мог бы ответить сэра Томас или некоторые мировые судьи в округе.

Мистер Адамс особенно допытывался, когда и при каких счастливых обстоятельствах юноша почерпнул свои знания. И Джойи сообщил ему, что он очень рано научился читать и писать благодаря своему доброму отцу, который, правда, не располагал достаточным влиянием, чтоб устроить его в бесплатную школу, так как двоюродный брат того помещика, на чьей земле проживал отец, не тому, кому следовало, отдал свой голос при выборе церковного старосты в их избирательном округе, – однако же сам не скупился тратить шесть пенсов в неделю на обучение сына. Юноша поведал также, что с тех пор, как он служит у сэра Томаса, он все часы досуга уделяет чтению хороших книг; что он прочитал Библию, «Долг человека» и Фому Кемпийского;<sup>20</sup> и что он так часто, как только мог, углублялся тайком в изучение премудрой книги, которая всегда лежит, раскрытая, на окне прихожей, и в ней прочел о том, «как дьявол унес половину церкви во время проповеди, не повредив никому из прихожан»; и «как хлеб на корню сбежал вниз по склону горы вместе со всеми деревьями на ней и покрыл пажить другого

---

<sup>20</sup> Впервые опубликованный в 1658 г. и неоднократно переизданный, богословский трактат «Долг человека» подробнее разбирал обязанности человека перед богом и близкими. Его рекомендации были весьма строги: например, непослушание родительской воле при вступлении в брак объявлялось величайшим грехом. Предполагаемый автор трактата – королевский капеллан Ричард Эллестри (1619 – 1681). Христианский писатель Фома Кемпийский (1380 – 1471), августинский монах, считается автором латинского сочинения «Подражание Христу» (1441). Ниже упоминается «Летопись английских королей» (1643) Ричарда Бейкера (1568 – 1645).

пахаря». Это сообщение вполне убедило мистера Адамса в том, что названная поучительная книга не могла быть ничем другим, кроме как «Летописью» Бейкера.

Священник, пораженный таким примерным усердием и прилежанием в молодом человеке, которого никто не понуждал к этому, спросил его, не сожалеет ли он о том, что не получил более обширного образования и не рожден от родителей, которые поощряли бы его таланты и жажду знаний. Юноша на это возразил, что «наставительные книги, надеется он, пошли ему впрок и научили его не жаловаться на свое положение в этом мире; что сам он вполне доволен тем местом, которое призван занять; что он будет стараться совершенствовать свой талант, который только и спросится с него, а не сожалеть о своей участи и не завидовать доле ближних, стоящих выше его».

– Хорошо сказано, мой мальчик, – ответил священник, – и было бы неплохо, если бы кое-кому из тех, кто прочел много больше хороших книг, – да, пожалуй, и из тех, кто сами писали хорошие книги, – чтение столь же пошло бы впрок.

Доступ к миледи или к сэру Томасу Адамс мог получить только через их домоправительницу: потому что сэра Томас был слишком склонен оценивать людей лишь по их одежде и богатству, а миледи была женщина веселого нрава, которой выпало счастье получить городское воспитание, и, говоря о своих деревенских соседях, она их называла не иначе, как «эти скоты». Оба они смотрели на священника как на своего рода слугу, но только из челяди приходского пастора, который о ту пору был не в ладах с баронетом, так как пастор этот много лет пребывал в состоянии постоянной гражданской войны или – что, пожалуй, столь же скверно – судебной тяжбы с самим сэром Томасом и с арендаторами его земель. В основе этой распри лежал один пункт касательно десятины, который, если б не оспаривался, увеличил бы доход священнослужителя на несколько шиллингов в год; однако ему все не удавалось добиться утверждения в своем праве, и он пока что не извлек из тяжбы ничего хорошего, кроме удовольствия (правда, немалого, как он частенько говаривал) размышлять о том, что он разорил вконец многих арендаторов победнее, хоть и сам в то же время изрядно обнищал.

Миссис Слипслоп,<sup>21</sup> домоправительница, будучи сама дочерью пастора, относилась к Адамсу с известной почтительностью; она питала большое уважение к его учености и нередко вступала с ним в споры по вопросам богословия; но всегда настаивала на том, чтобы и он уважал ее суждения, так как она часто бывала в Лондоне и уж, конечно, лучше знала свет, чем какой-то деревенский пастор.

В этих спорах у нее было особое преимущество перед Адамсом: она чрезвычайно любила трудные слова, которыми пользовалась так своеобразно, что священник, не смея усомниться в их правильности и тем оскорбить собеседницу, зачастую не мог разгадать их смысла и с большей легкостью разобрался бы в какой-нибудь арабской рукописи.

Итак, в один прекрасный день после довольно долгой беседы с нею о сущности материи (или, как она выражалась, – «матерьяла»), Адамс воспользовался случаем и завел разговор о юном Эндрусе, убеждая домоправительницу отрекомендовать его своей госпоже как юношу, очень восприимчивого к учению, и доложить ей, что он, Адамс, берется обучить его латыни, дабы предоставить юноше возможность занять в жизни место более высокое, чем должность лакея; и добавил, что ведь ее господину нетрудно будет устроить юношу как-нибудь получше. Поэтому он желал бы, чтобы Эндруса передали на его Попечение.

– Что вы, мистер Адамс! – сказала миссис Слипслоп. – Вы думаете, миледи допустит в таком деле вмешательство в свои планы? Она собирается ехать в Лондон, и мне конфиденциально известно, что она ни за что не оставит Джойи в деревне, потому что он самый милый молодой человек и другого такого днем с огнем не сыщешь, и я конфиденциально знаю, она

---

<sup>21</sup> Фамилия героини означает: бурда, разбавленное вино (домоправительница безгрешна по этой части), а также способность говорить невпопад, без смысла.

и не подумает расстаться с ним, все равно как с парой своих серых кобыл; потому что она дорожит им ничуть не меньше.

Адамс хотел перебить, но она продолжала:

– И почему это латынь нужна лакею больше, чем джентльмену! Вполне понятно, что вам, духовным особам, надо учить латынь, вы без нее не можете читать проповеди, – но в Лондоне я слышала от джентльменов, что больше она никому на свете не нужна. Я конфиденциально знаю, что миледи прогневаётся на меня, если я ей на что-нибудь такое намекну; и я не хочу навлекать на свою голову промблему...

На этом слове ее перебил звонок из спальни, и мистер Адамс был вынужден удалиться; а больше ему не представилось случая поговорить с домоправительницей до отъезда господ в Лондон, который состоялся через несколько дней. Однако Эндрус остался весьма благодарен священнику за его благие намерения и сказал, что никогда их не забудет; а добрый Адамс не поскупился на наставления касательно того, как юноше вести себя в будущем и как сохранять свою невинность и рвение к труду.

## Глава IV

### Что произошло по переезде в Лондон

Как только юный Эндрус прибыл в Лондон, он завязал знакомства со своими разноцветными собратьями,<sup>22</sup> которые всячески старались внушить ему презрение к его прежнему образу жизни. Волосы его были теперь подстрижены по последней моде и составляли главную его заботу: все утро он ходил закрутив их в бумажки и расчесывал только к полудню. Однако его так и не удалось научить игре в карты, божбе, пьянству и другим изящным порокам, какими столь богата столица. Часы своего досуга он отдавал по большей части музыке и весьма усовершенствовался в ней: он стал таким знатоком в этом искусстве, что, когда посещал оперу, его мнение становилось решающим для всех других лакеев, и никто из них не смел осудить или одобрить песню наперекор его неодобрению или похвале. Он вел себя, пожалуй, слишком шумно в театре и на разных сборищах; сопровождая же свою госпожу в церковь (что случалось не часто), он меньше проявлял набожности, чем, бывало, раньше. Но если и появился у него внешний лоск, все же нравственно он оставался неиспорченным, хоть и был изящней и милей всех щеголей в городе – будь они в ливрее или без ливреи.

Его госпожа, говорившая ранее, что Джойи самый милый и красивый лакей в королевстве, но что ему, к сожалению, не хватает «живости ума», перестала находить в нем этот недостаток; напротив, от нее теперь часто можно было услышать возглас: «Эге, в этом юноше есть огонек!» Она ясно видела действие, оказываемое воздухом столицы на самые трезвые натуры. Теперь она стала выходить с ним по утрам на прогулку в Гайд-парк, и, когда уставала, что с ней случалось чуть ли не ежеминутно, она опиралась на его плечо и заводила разговор в непридуманно-дружественном тоне. Выходя из кареты, она всякий раз брала его за руку и порой, боясь споткнуться, сжимала ее слишком крепко; по утрам призывала юношу в спальню, чтобы, еще лежа в постели, выслушать его доклад; постреливала в него глазами за столом и допускала с ним все те невинные вольности, какие могут позволить себе светские дамы, нисколько не запятнав своей добродетели.

Но хотя добродетель остается незапятнанной, все же легкие стрелы порой задевают ее зеркало – репутацию дамы, и это выпало на долю леди Буби, которая однажды утром прогуливалась в Гайд-парке под руку с Джойи в час, когда мимо проезжали случайно в карете леди Титл и леди Татл.<sup>23</sup>

– Боже! – сказала леди Титл. – Я не верю своим глазам! Неужели это леди Буби?

– Несомненно, она, – сказала Татл, – а что вас так удивляет?

– Что? Но ведь это же ее лакей, – ответила Титл.

А Татл рассмеялась и воскликнула:

– Старая история, уверяю вас! Да может ли быть, чтобы вы не слышали? Полгода, как весь Лондон знает.

Эта краткая беседа привела к тому, что в тот же день, из сотни визитов, нанесенных порознь двумя нашими дамами, родился шепоток<sup>24</sup>, и он мог бы породить опасные последствия, если бы его не остановили две свежие новости, обнаруженные на другой день и ставшие предметом разговора по всему городу.

---

<sup>22</sup> Имеются в виду лакеи, одетые в ливреи разных цветов.

<sup>23</sup> В слитном написании «титл-татл» (tittle-tattle) означает: сплетня, слухи. Татл также персонаж комедии У. Конгрива «Любовь за любовь» (1695) – «глуповатый щеголь».

<sup>24</sup> Может показаться нелепым, что Татл отправилась с визитами для распространения всем известной сплетни (а она именно так и поступила), но несообразность будет устранена, если читатель со мною вместе предположит, что Дама, вопреки своему уверению, сама узнала новость лишь впервые. (Примеч. автора.)

Но какие бы суждения и подозрения ни высказывались о невинных вольностях леди Буби падкими на сплетню хулителями, достоверно установлено, что вольности эти не произвели впечатления на юного Эндруса и он никогда не пытался злоупотреблять теми привилегиями, какие предоставляла ему госпожа. Такое поведение она объясняла его безграничным уважением к ней, и это лишь усиливало то, что начинало зарождаться в ее сердце и о чем будет сказано несколько яснее в следующей главе.

## Глава V

### Смерть сэра Томаса Буби, горькая и страстная скорбь его вдовы и великая чистота Джозефа Эндруса

Об эту пору произошло событие, положившее конец тем приятным прогулкам, которые, вероятно, вскоре заставили бы Молву надуть щеки и затрубить на весь город в медную трубу; и событием этим было не что иное, как смерть сэра Томаса, который, покинув этот мир, обрек безутешную свою супругу на такое строгое заключение в стенах ее дома, как если б ее самое постигла тяжелая болезнь. Первые шесть дней бедная леди не допускала к себе никого, кроме миссис Слипслоп и трех приятельниц, составлявших ей компанию за карточным столом, но на седьмой она отдала приказание, чтобы Джойи, которого мы с полным основанием станем называть отныне Джозефом<sup>25</sup>, принес ей наверх чаю. Лежа в постели, леди подозвала Джозефа к себе, предложила ему присесть и прикрыв невзначай своей ладонью его руку, спросила, был ли он когда-нибудь влюблен. Несколько смутившись, Джозеф отвечал, что он еще слишком молод – рано ему думать о таких вещах.

– Я уверена, – возразила леди, – что вы в ваши юные годы не чужды страсти. А ну-ка, Джойи, – добавила она, – скажите мне откровенно, кто та счастливая девушка, чьи глаза покорили вас?

Джозеф ответил, что все женщины, каких он видел, равно для него безразличны.

– О, если так, – сказала леди, – то вы влюблены во всех. В самом деле, вы, красивые мужчины, как и красивые женщины, долго медлите с выбором; но все же вам не убедить меня, что ваше сердце так недоступно нежным чувствам; я склонна скорее объяснить ваши слова скрытностью, качеством весьма похвальным и за которое я на вас несколько не сержусь. Молодой человек не может совершить большую низость, как разгласить что-либо о своих тайных связях с дамами.

– С дамами?! Сударыня, – сказал Джозеф, – право же, я никогда не позволял себе наглости помышлять о ком-либо, кто вправе так называться.

– Не притязайте на чрезмерную скромность, – сказала леди, – потому что она может иногда обернуться дерзостью; но, прошу вас, ответьте мне на такой вопрос: предположим, что вам случилось понравиться какой-нибудь даме, предположим, что она отдала вам предпочтение перед всеми лицами вашего пола и разрешила вам все те вольности, на какие вы могли бы надеяться, если бы вы были равны ей по рождению, – уверены ли вы, что тщеславие не соблазнило бы вас предать ее? Ответьте честно, Джозеф, настолько ли вы разумней и добродетельней, чем бывают обычно молодые люди, всегда готовые без зазрения совести принести наше доброе имя в жертву своей кичливости, не помышляя о том, какие большие обязательства мы возлагаем на вас нашим снисхождением и доверием? Умеете ли вы хранить тайну, мой Джойи?

– Миледи, – отвечал он, – я надеюсь, вы не можете обвинить меня в разглашении тайн вашего дома; и надеюсь, если бы даже вам пришлось прогнать меня со службы, вы отметили бы мою скромность в рекомендации.

– Я вовсе не намерена прогонять вас, Джойи, – сказала она и вздохнула, – боюсь, это было бы выше моих сил. – Тут она приподнялась немного в постели и обнажила шею, блее которой едва ли можно увидеть на земле. Джозеф вспыхнул.

---

<sup>25</sup> Отношения между леди Буби и Джозефом начинают теперь напоминать отношения между женой Патифара и Иосифом (библейская транскрипция имени Джозеф) в «Бытии» (гл. 39).

– Ах! – говорит она, притворяясь, словно только сейчас спохватилась. – Что я делаю? Я доверчиво, наедине с мужчиной, лежу нагая в постели; что, если бы у вас явилась злая мысль посягнуть на мою честь, в чем нашла бы я защиту?

Джозеф стал уверять, что никогда не питал в отношении ее никаких дурных намерений.

– Да, – сказала она, – возможно, вы не называете ваши намерения дурными, и, может быть, в них и нет ничего дурного.

Он поклялся, что в самом деле нет.

– Вы меня не поняли, – пояснила миледи, – я хотела сказать, что, если они и направлены против моей чести, они, быть может, не плохи, но свет зовет их дурными. Вы, правда, говорите, что свет никогда ничего об этом не узнает; но разве бы это не значило положиться на вашу скромность? Доверить вам свое доброе имя. Разве не стали бы вы тогда хозяином надо мной?

Джозеф попросил ее милость успокоиться; он никогда бы не замыслил ничего дурного против нее и скорее принял бы тысячу казней, чем дал бы ей основание для таких подозрений.

– Нет, – сказала она, – у меня есть основания для подозрений. Разве вы не мужчина? А я, скажу без лишнего тщеславия, не лишена привлекательности. Но вы, быть может, боитесь, что я стала бы преследовать вас по закону; я даже надеюсь, что вы боитесь этого; однако же, видит небо, я никогда бы не отважилась предстать пред судом; и вы знаете, Джойи, я склонна к снисходительности. Скажите, Джойи, вам не кажется, что я бы вас простила?

– Право, сударыня, – отвечает Джозеф, – я никогда не сделаю ничего, что прогневило бы вашу милость.

– Как, – говорит она, – вы думаете, это бы меня не прогневило? Вы думаете, я охотно уступила бы вам?

– Я вас не понимаю, сударыня, – молвит Джозеф.

– В самом деле? – говорит она. – Ну, так вы либо глупец, либо притворяетесь глупцом; вижу, что я в вас ошиблась. Идите же вниз и больше никогда не показывайтесь мне на глаза: вы меня не проведете вашей напускной невинностью.

– Сударыня, – сказал Джозеф, – я не хотел бы, чтобы ваша милость дурно думали обо мне. Я всегда старался быть почтительным слугой и вам и моему господину.

– Ах, негодяй! – вскричала миледи. – Зачем упомянул ты этого прекрасного человека, если не на муку мне, если не затем, чтобы вызвать в уме моем дорогое воспоминание? (И тут она разразилась слезами.) Прочь с моих глаз! Я тебя не желаю больше видеть – никогда!

С этим словом она отвернулась от него, а Джозеф удалился из комнаты в глубокой печали и написал письмо, которое читатель найдет в следующей главе.

## Глава VI

### Джозеф Эндрус пишет письмо своей сестре Памеле «Миссис Памеле Эндрус, проживающей у сквайра Буби.»

Любезная сестрица!

После того как я получил ваше письмо о смерти вашей дорогой госпожи, наш дом постигло такое же несчастье. Несколько дней назад скончался сэр Томас, мой высокочтимый господин; и, что еще того хуже, моя бедная госпожа явно потеряла рассудок. Никто из нас не думал, что она примет его смерть так близко к сердцу, потому что они ссорились чуть ли не каждый день; но об этом ни слова больше, так как вы знаете, сестрица, я никогда не любил разглашать семейные тайны моих господ; но вам было, конечно, известно, что они никогда не любили друг друга: я сам слышал тысячу раз, как миледи желала смерти моему господину; но никто, видно, не знает, что значит потерять друга, покуда не потеряешь его.

Никому не рассказывайте о том, что я вам напишу: мне не хотелось бы, чтоб люди говорили, будто я разглашаю, что происходит в доме; но не будь она такой высокопоставленной дамой, я подумал бы, что у моей госпожи появилась склонность ко мне. Дорогая Памела, никому не говорите, но она приказала мне сесть подле нее, когда она лежала голая в постели; и она взяла меня за руку и говорила в точности так, как одна дама говорила со своим возлюбленным в пьесе, которую я смотрел в Ковент-Гардене, когда ей захотелось, чтобы он показал себя самым обыкновенным развратником.<sup>26</sup>

Ежели впрямь госпожа моя сошла с ума, мне не хотелось бы оставаться долго в этом доме, так что очень прошу вас, устройте меня на место к господину сквайру или к кому другому из джентльменов по соседству, – если только вы и вправду не выходите замуж за пастора Вильямса, как о том говорят, а тогда я охотно пошел бы к нему в причетники; для этого я, как вы знаете, достаточно обучен – умею и читать и запевать псалмы.

Думаю, что мне очень скоро дадут расчет; и если к тому времени я не получу от вас ответа, то вернусь в деревню, в поместье моего покойного господина, – хотя бы только затем, чтобы повидаться с пастором Адамсом, потому что он самый лучший человек на свете. Лондон – дурное место, и так мало тут дружелюбия, что люди живут бок о бок, а друг с другом не знакомы. Передайте от меня, пожалуйста, низкий поклон всем друзьям, какие спросят обо мне. Итак, остаюсь

любящий вас брат

*Джозеф Эндрус».*

Как только Джозеф запечатал письмо и надписал на нем адрес, он стал спускаться по лестнице и встретил миссис Слипслоп, скоторой мы, пользуясь случаем, познакомим теперь читателя несколько ближе. Это была незамужняя особа лет сорока пяти. В юности она допустила небольшую оплошность и с той поры вела безупречный образ жизни. Ныне она не поражала красотой; при низеньком росте была излишне полнотела, краснощека и вдобавок еще

---

<sup>26</sup> Джозеф, скорее всего, имеет в виду сцену соращения героя в пьесе Дж. Лилло «Лондонский купец» (1731). В Ковент-Гардене она была поставлена в мае 1740 г. – тогда и мог ее видеть Джозеф (раньше она шла в Друри-Лейн). Ученые указывают также на аналогичную сцену между Жакобом и мадам де Фекур в романе «Удачливый крестьянин» Мариво

угревата. К тому же нос у нее был слишком большой, а глаза слишком маленькие; и если походила она на корову, то не столько молочным запахом, сколько двумя бурыми шарами, которыми колыхала перед собой на ходу; да еще и одна нога у нее была короче другой, вследствие чего она прихрамывала. Эта обольстительная леди давно уже поглядывала нежным оком на Джозефа, но до сих пор не добилась того успеха, какого, вероятно, ждала, – хотя в добавление к своим природным прелестям она постоянно его угощала чаем, и сладостями, и вином, и множеством других лакомых вещей, какими, держа в своих руках ключи, она могла распоряжаться, как хотела. Джозеф, однако, ни разу не поблагодарил ее за все эти милости – хотя бы поцелуем; впрочем, я отнюдь не утверждаю, будто таким образом ее легко было бы удовлетворить: ибо тогда, конечно, наш герой заслуживал бы всяческого порицания. Истина же в том, что она достигла возраста, когда, по ее рассуждению, она могла позволить себе любые вольности с мужчиной без опасения произвести на свет третье лицо, которое явилось бы тому живой уликой. Она полагала, что столь долгим самоотречением не только загладила ту небольшую ошибку молодости, на какую намекалось выше, но еще и накопила впрок известное количество добродетели для извинения будущих прегрешений. Словом, она решила дать волю любовным своим страстям и как можно скорее вознаградить себя той суммой наслаждений, на какую почитала себя в долгу перед самой собой.

Оснащенная такими телесными чарами и в таком расположении духа встретила она бедного Джозефа внизу на лестнице и спросила, не выпьет ли он нынче утром стакан чего-либо вкусного. Джозеф, будучи сильно угнетен, с большой охотой и благодарностью принял это предложение; и они прошли вдвоем в кладовую, где, налив ему полный стакан ратафии <sup>27</sup> и пригласив его сесть, миссис Слипслоп начала так:

– Конечно, ничто так верно не приведет женщину к пропасти, как если она отдаст свою нежность мальчишке. Если бы я могла подумать, что меня ждет подобная судьба, то я лучше приняла бы тысячу смертей, чем мне дожить до такого дня. Если нам понравился мужчина, малейший наш намек становится фантален. Тогда как с мальчиком приходится нарушать все препоны скромности, прежде чем сумеешь произвести на него запечатление.

Джозеф, не поняв ни слова из ее речи, отозвался:

– Да, сударыня...

– «Да, сударыня!» – подхватила миссис Слипслоп с некоторой горячностью. – Вы намерены извергнуть мою страсть. Мало вам, неблагодарный, что вы не отвечаете на все фаворы, какие я вам делала, вы еще позволяете себе игронизировать? Варвар вы и чудовище! Чем я заслужила, чтобы страсть мою извергали и еще игронизировали надо мной?

– Сударыня, – ответил Джозеф, – я не понимаю ваших замысловатых слов, но я уверен, что не дал вам основания назвать меня неблагодарным: я не только никогда не замышлял против вас ничего дурного, но всегда почитал и любил вас, как если б видел в вас родную мать.

– Как, бездельник! – вскричала миссис Слипслоп в ярости. – Родную мать! Вы инсвилируете, будто я уж так стара, что гожусь вам в матери? Не знаю, как молокососы, но мужчина натурально предпочтет меня всяким глупым зеленым девчонкам с бледною немочью; но я должна не сердиться на вас, а скорей презирать вас, если вы отдаете преферанцию разговорам с девчонками, а не с разумною женщиной.

– Сударыня, – сказал Джозеф, – право же, я всегда высоко ценил честь, какую вы оказываете мне, разговаривая со мной, потому что вы, я знаю, образованная женщина.

– Но, Джозеф, ах, – отвечала она, несколько смягчившись от комплимента насчет образованности, – если б вы меня ценили, вы, конечно, нашли бы способ как-нибудь показать это мне. Я уверена, вы не могли не понять, как я вас ценю. Да, Джозеф, так это или нет, но глаза мои должны были выдать страсть, которую я не в силах победить. Ах, Джозеф!

---

<sup>27</sup> Ратафия – напиток, настоянный на ягодах с косточками.

Подобно тому как голодная тигрица, долго рыскавшая по лесам в бесплодных поисках добычи и вдруг увидевшая поблизости ягненка, готовится к прыжку, чтобы запустить в него свои когти; или как огромная прожорливая щука, высмотрев сквозь водную стихию плотичку или пескаря, которому не избежать ее пасти, широко ее раскрывает, чтобы проглотить рыбешку, – так приготовилась миссис Слипслоп наложить свои страстные длани на бедного Джозефа, когда, на его счастье, прозвенел колокольчик хозяйки, который и спас от лап домоправительницы намеченную жертву. Миссис Слипслоп была принуждена тотчас оставить юношу и отложить исполнение своего намерения до другого случая. Мы поэтому вернемся к леди Буби и дадим читателю некоторый отчет о ее поведении после того, как Джозеф удался, оставив ее в состоянии духа, мало отличном от того, в каком пребывала воспламененная Слипслоп.

## Глава VII

### **Изречения мудрых мужей. Диалог между леди и ее камеристкой и панегирик любовной страсти – или, скорее, сатира на нее в возвышенном стиле**

Один древний мудрец, чье имя я запомнил, высказал мысль, что страсти по-разному действуют на дух человеческий, как по-разному действует на тело болезнь, в соответствии с тем, крепки или слабы дух и тело, здоровы или подточены.

Мы поэтому надеемся, что рассудительный читатель даст себе некоторый труд уяснить то, что мы с таким тщанием старались описать, – различное действие любовной страсти на нежную и возвышенную душу леди Буби и на не столь утонченную, более грубую натуру миссис Слипслоп.

Другой философ, чье имя тоже ускользнуло сейчас из моей памяти, сказал где-то, что решения, принятые в отсутствие любимого существа, легко забываются в его присутствии. Последующая глава может служить иллюстрацией к обоим этим мудрым изречениям.

Не успел Джозеф оставить комнату вышеописанным образом, как миледи, в ярости от своей неудачи, предалась самым суровым мыслям о своем поведении. Ее любовь перешла теперь в презрение, и оно совместно с гордостью жестоко терзало ее. Она презирала себя за изменчивость своей страсти, а Джозефа за то, что ее страсть осталась без ответа. Вскоре, однако, она сказала себе, что одержала верх над этой страстью, и решила немедленно освободиться от ее предмета. Мечась и ворочаясь в постели, она вела сама с собой разговор, который мы, если бы не могли предложить нашему читателю ничего лучшего, не преминули бы здесь передать; наконец, она позвонила, как было упомянуто, и тотчас явилась к ее услугам миссис Слипслоп, которой Джозеф угодил не многим больше, чем самой миледи.

– Слипслоп, – сказала леди Буби, – давно вы видели Джозефа?

Бедная домохозяйка так была поражена неожиданным упоминанием этого имени в столь критическую минуту, что с трудом скрыла от своей госпожи охватившее ее смущение; все же она ответила довольно уверенно (хотя в душе побаивалась возможного подозрения), что в это утро не видела его.

– Боюсь, – сказала леди Буби, – что он престранный молодой человек.

– Так оно и есть, – сказала Слипслоп, – престранный и к тому же дурной. Насколько я знаю, он играет, пьет, вечно ругается и дерется; кроме того, у него отвратительная тянущая к волокитству.

– Да? – сказала леди. – Этого я про него никогда не слышала.

– О сударыня! – отвечала та. – Он такой бесстыжий негодяй, что, если ваша милость долго будете держать его, в вашем доме не останется ни одной честной девицы, кроме меня! И все же так я не понимаю, что эти девчонки в нем находят! Почему они все от него без ума: на мой взгляд, он самое что ни на есть безобразное чучело.

– Нет, – возразила леди, – мальчик недурен собой.

– Фи, сударыня! – воскликнула Слипслоп. – Он, по-моему, самый неавантажный молодой человек из всей прислуги.

– Право, Слипслоп, – сказала леди, – вы ошибаетесь; но кого из женщин вы больше всех подозреваете?

– Сударыня, – сказала Слипслоп, – взять к примеру горничную Бетти: я почти уверена, что она беременна от него.

– Вот как! – воскликнула леди. – Тогда, прошу вас, дайте ей сейчас же расчет. Я не желаю держать в моем доме потаскух. А что касается Джозефа, так можете уволить и его.

– Вашей милости угодно, чтобы я его рассчитала немедленно? – вскричала Слипслоп. – Но, может быть, когда Бетти тут не будет, он исправится? И в самом деле, мальчик – хороший слуга, и сильный, здоровый, видный такой парень...

– Сегодня же до обеда! – властно перебила леди.

– Позвольте, сударыня! – воскликнула Слипслоп. – Может быть, ваша милость испытали бы его еще немного?

– Я не желаю, чтобы мои распоряжения оспаривались, – сказала леди. – Надеюсь, вы не влюблены в него сами?

– Я, сударыня! – вскричала Слипслоп, и щеки ее стали красными, чуть не багровыми. – Мне было бы обидно думать, что у вашей милости есть основание заподозрить меня в симпатии к какому-нибудь молодому человеку; и если вам так угодно, я все исполню с полным моим прекословием.

– Полагаю, вы хотели сказать «беспрекословно», – поправила леди, – так вот ступайте сейчас же, не откладывая.

Миссис Слипслоп вышла, а леди, раза два перевернувшись с боку на бок, принялась яростно стучать и звонить. Слипслоп, вершившая свой путь без особой поспешности, быстро вернулась и получила противоположное распоряжение касательно Джозефа и приказ безотлагательно прогнать со службы Бетти. Она вторично направилась к выходу, – быстрее, чем раньше, – но тут леди стала винить себя в недостаточной решительности и опасаться возвращения своего чувства с его губительными последствиями. Поэтому она снова схватилась за звонок и снова потребовала к себе миссис Слипслоп; и та опять вернулась и услышала, что госпожа передумала и пришла к окончательному решению выгнать Джозефа, – что она и приказывает ей немедленно сделать. Слипслоп, которая знала горячий нрав своей хозяйки и не стала бы рисковать своим местом ни для какого Адониса или Геркулеса на свете, вышла из спальни в третий раз. Но не успела она переступить порог, как лукавый божок Купидон, убоившись, что не покончил своего дела с миледи, вынул из колчана новую стрелу с самым острым наконечником и пустил прямо ей в сердце; или, говоря другим, более простым языком, страсть в миледи взяла верх над рассудком. Вновь она призывает обратно Слипслоп и объявляет ей, что решила еще раз повидать юношу и сама допросить его; а потому пусть пришлют его к ней. Эти колебания хозяйки, возможно, навели домоправительницу на мысль, которую нам нет надобности разъяснять проницательному читателю.

Леди Буби уже хотела снова позвать ее назад, но у нее не хватило духу. Следующий помысел ее был о том, как ей держаться с Джозефом, когда тот придет. Она решила сохранить все достоинство знатной дамы перед собственным слугою и при этом последнем свидании с Джозефом (а она твердо решила, что оно будет последним) вести себя с ним не более снисходительно, чем он того заслуживает, – то есть сперва отчитать его и затем рассчитать.

О Любовь, какие чудовищные шутки ты шутишь со своими приверженцами обоого пола! Как ты их обманываешь и как заставляешь их обманывать самих себя! Их безумства тебе в усладу! Их воздыхания тебя смешат. Их терзания – твое веселье!

Ни великий Рич, превращающий людей в обезьян, в тачки и во что только ни заблагорассудится ему, не подвергал таким странным метаморфозам облик человеческий<sup>28</sup>; ни великий Сиббер, путающий все числа, роды и падежи, ломающий по своему произволу все правила грамматики, так не искажал английского языка,<sup>29</sup> как искажаешь ты в своих метаморфозах человеческие чувства.

---

<sup>28</sup> Постановщик эффектных трюковых пантомим Джон Рич (1692 – 1761) был объявлен «отцом Арлекина» (он обычно выступал в этой роли) и не раз побывал сатирической мишенью (Хогарт, Поп, тот же Филдинг). Впрочем, в истории театра его имя осталось в связи с первой постановкой «Оперы нищего» Джона Гея.

<sup>29</sup> Вслед за опубликованием в апреле 1740 г. «Апологии» Сиббера Филдинг напечатал в «Борце» разносную критику этого сочинения под названием «Протоколы суда цензурного дознания», обвиняя автора в «непреднамеренном убийстве»

Ты нам выкалываешь глаза, затыкаешь нам уши и отнимаешь у наших ноздрей их силу восприятия; так что мы не видим самых крупных предметов, не слышим самого громкого шума, не улавливаем самых острых запахов. Напротив, когда тебе это угодно, ты можешь сделать так, что муравейник нам покажется горой, флейта для нас зазвучит трубою и ромашка заблагоухает фиалкой. Ты можешь сделать трусость храброй, скупость щедрой, гордость смиренной и жестокость милосердной. Словом, ты выворачиваешь сердце человеческое наизнанку, как фокусник халат, и извлекаешь из него все, что тебе вздумается. Если кто-либо во всем этом сомневается, пусть прочтет следующую главу.

## **Глава VIII, в которой после некоего весьма изящного описания рассказывается о свидании между леди и Джозефом, когда сей последний явил пример, коему мы в наш порочный век не надеемся увидеть подражания со стороны лиц его пола**

Вот и Геспер-повеса крикнул уже, чтоб несли ему штаны, и, протерев сонные глаза, приготовился нарядиться на ночь; и, следуя сему примеру, его братья-повесы на земле также покидают постели, в которых проспали весь день. Вот и Фетида, добрая хозяйка, загремела горшками, чтобы накормить на славу доброго честного Феба<sup>30</sup> по завершении его дневных трудов. Говоря низменным языком, был уже вечер, когда Джозеф явился на зов своей госпожи.

Но так как нам подобает оберегать доброе имя дамы, героини нашей повести, и так как мы, естественно, питаем удивительную нежность к той прелестной разновидности рода человеческого, которая именуется прекрасным полом, – то, прежде чем открыть читателю слишком многое из слабостей этой дамы, правильно будет сначала описать ему яркими красками то великое искушение, которое одержало победу над всеми усилиями скромного и добродетельного духа; и тогда, мы смиренно надеемся, добрый наш читатель скорей пожалеет о несовершенстве людской добродетели, нежели осудит его.

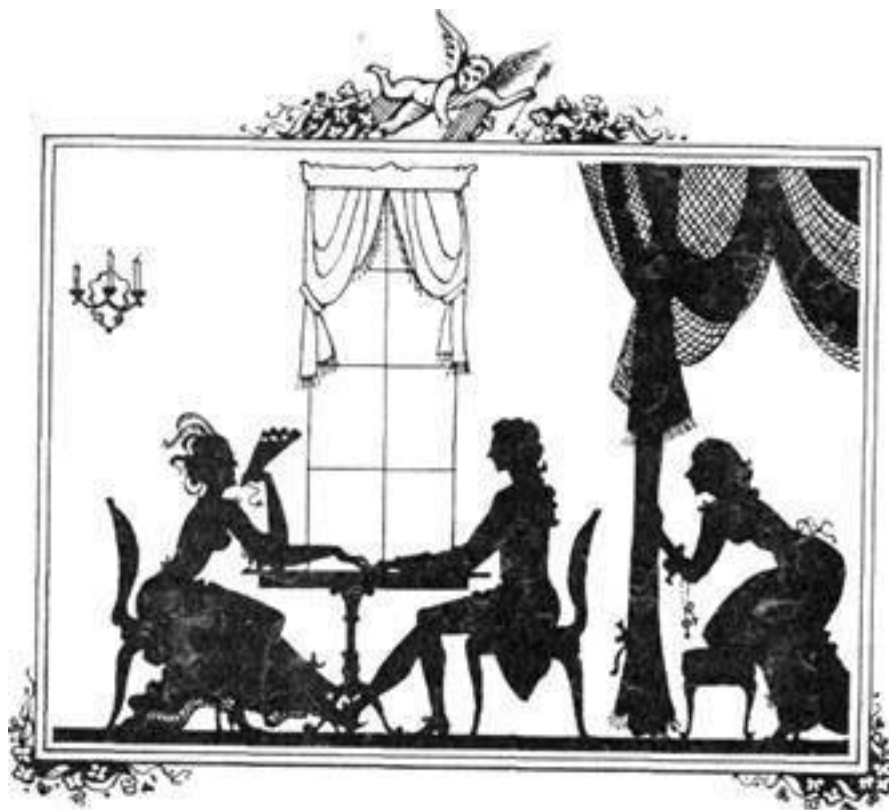
О, даже и дамы, надеемся мы, приняв во внимание многообразие чар, соединившихся в этом молодом человеке, будут склонны обуздать свою безудержную страсть к целомудрию и – настолько хотя бы, насколько разрешит им их ревностная скромность и добродетель, – проявят мягкость в своем суде о поведении женщины, возможно не менее целомудренной по природе, чем те чистые и непорочные девы, которые, простодушно посвятив свою жизнь столичным увеселениям, начинают годам к пятидесяти посещать два раза *per diem*<sup>31</sup> фешенебельные церкви и капеллы, дабы возносить благодарения богу за явленное им милосердие, некогда уберегшее их среди стольких обольстителей от соблазнов, быть может менее могучих, чем тот, что ныне возник пред леди Буби.

Мистеру Джозефу Эндрусу шел теперь двадцать первый год. Роста он был скорее высокого, чем среднего. Телосложение его отличалось большим изяществом и не меньшей силой. Его ноги и бедра являли пример самой точной соразмерности. Плечи были широки и мускулисты; но руки висели так легко, что в нем при несомненной силе не было ни тени неуклюжести. Волосы были у него каштановые и падали на спину своенравными локонами. Лоб высокий, глаза темные, полные и огня и ласки. Нос римский с небольшой горбинкой. Зубы ровные и белые. Губы красные и сочные. Борода и усы резко проступали только на подбородке и на верхней губе; щеки же, в которых играла кровь, были покрыты лишь густым пушком. В выражении его лица нежность сочеталась с невыразимой тонкостью чувств. Добавьте к этому самую щепетильную опрятность в одежде и осанку, которая показалась бы аристократической тем, кто мало видывал аристократов.

---

<sup>30</sup> *Геспер* – вечерняя звезда, Венера. *Фетида* – в греческой мифологии морская богиня, одна из nereid; мать Ахилла. *Феб* (греч. «лучезарный») – второе имя бога Аполлона, олицетворяющего солнце.

<sup>31</sup> В день (*лат.*).



Таков был человек, представший теперь пред взором леди. Некоторое время она глядела молча на него и два или три раза, прежде чем заговорить, меняла свое мнение о том, в каком духе ей следует начать. Наконец она ему сказала:

– Джозеф, мне очень прискорбно слышать эти жалобы на вас; мне передавали, будто вы так грубо ведете себя с девушками, что они не могут спокойно исполнять свои обязанности; я говорю о тех девушках, которые не настолько испорчены, чтобы склонять слух к вашим искаательствам. Что касается других, те, пожалуй, и не назовут вас грубым: есть же такие дурные распутницы, которые вызывают у нас стыд за весь наш пол и которые так же легко допускают всякую мерзкую вольность, как ее легко предлагает мужчина; да, есть такие и в моем доме; но здесь их не останется; та бессовестная потаскушка, которая ждет от вас ребенка, сейчас уже получила расчет.

Как человек, пораженный в сердце молнией, всем своим видом являет предельное изумление (а может, и впрямь бывает изумлен), – так принял бедный Джозеф ложное обвинение из уст своей госпожи, он вспыхнул и потупился в смущении; она же, усмотрев в этом признак виновности, продолжала так:

– Подойдите ближе, Джозеф. Так вот: другая хозяйка, возможно, уволила бы вас за такие проступки; но ваша юность вызывает во мне сострадание, и если бы я была уверена, что больше вы не провинитесь... Слушайте, дитя мое (тут она небрежно положила свою ладонь на его руку), вы – красивый молодой человек, и вы заслуживаете лучшей участи; вы могли бы найти свою судьбу...

– Сударыня, – сказал Джозеф, – уверяю вашу милость, ни на одну служанку в доме я не смотрю, не замечаю, мужчина она или женщина...

– Ах, фи! Джозеф, – говорит леди, – не совершайте нового преступления, отрицая правду, Я могла простить вам первое, но лжец для меня ненавистен.

– Сударыня! – воскликнул Джозеф. – Надеюсь, вашу милость не оскорбит мое уверение, что я невинен: ибо, клянусь всем святым, я никогда ни с кем не позволил себе ничего, кроме поцелуев.

– Поцелуев! – сказала леди, и ее лицо отразило сильное волнение, причем больше было краски на ее щеках, чем негодования во взоре. – Вы не называете их преступлением? Поцелуи, Джозеф, это как пролог к пьесе. Могу ли я поверить, чтобы молодой человек вашего возраста и вашего цветущего вида довольствовался одними поцелуями? Невозможно, Джозеф! Нет такой женщины, которая, разрешая это, не была бы склонна разрешить и большее; вы сами привели бы ее к тому – или я жестоко в вас обманываюсь. Что вы подумали бы, Джозеф, если бы я вам позволила меня поцеловать?

Джозеф ответил, что он скорей бы умер, чем допустил такую мысль.

– А все же, Джозеф, – продолжала она, – леди не раз позволяли такие вольности своим лакеям; и лакеям, должна я признать, куда менее заслуживавшим этого, не обладавшим и половиною ваших чар; потому что такие чары, как ваши, почти могли бы оправдать преступление. Итак, скажите мне, Джозеф, если бы я разрешила вам такую вольность, что бы вы подумали обо мне?... Скажите откровенно.

– Сударыня, – молвил Джозеф, – я подумал бы, что ваша милость снизошли много ниже своей особы.

– Фью! – сказала она. – В этом я сама перед собой держу ответ. Но вы не стали бы настаивать на большем? Удовольствовались бы вы поцелуем? Все желания ваши не запылали бы разве огнем при таком поощрении?

– Сударыня, – сказал Джозеф, – если бы даже и так, надеюсь, я все же не потерял бы власти над ними и не дал бы им взять верх над моей добродетелью.

Читатель, ты, конечно, слышал от поэтов о статуе Изумления <sup>32</sup>, ты слышал также – если не вовсе уж мало ты слышан – о том, как один из сыновей Креза, пораженный ужасом, вдруг заговорил, хотя был нем <sup>33</sup>. Ты видел лица зрителей в восемнадцатипенсовой галерее <sup>34</sup>, когда из люка под тихую музыку или без музыки поднимается мистер Бриджуотер, мистер Уильям Миллз <sup>35</sup> или еще какое-либо призрачное явление с лицом, бледным от пудры, и в рубахе, кровавой от красных лент. Но ни статуя эта, ни крезов сын, ни те зеваки в балагане, ни Фидий и Пракситель <sup>36</sup>, вернись они к жизни, ни даже неподражаемый карандаш моего друга Хогарта не могли бы явить тебе столь идеального образа изумления, какой представился бы твоим глазам, если б узрели они леди Буби, когда эти последние слова слетели с уст Джозефа.

– Над вашей добродетелью! – сказала леди, придя в себя после двух минут молчания. – Нет, я этого не переживу! Ваша добродетель? Какая нестерпимая самоуверенность! Вы имеете дерзость утверждать, что когда леди, унизив себя и отбросив правила приличия, удостоит вас высшей милости, какая только в ее власти, – то тогда ваша добродетель воспротивится ее желанию? Что леди, преодолев свою собственную добродетель, встретит препятствие в вашей?

---

<sup>32</sup> Это распространенный образ (например, в «Ричарде III» Шекспира: «...ни слова не сказали. Как будто камни или истуканы. И, бледные, глядели друг на друга»; акт IV, сц. 7), и читателю-современнику не обязательно было вспоминать по этому поводу «поэтов» – в наставлениях художникам достаточно подробно описывались позы и телодвижения в состоянии того или иного аффекта; на гравюрах того же Хогарта можно видеть подобных «истуканов»; наконец, в наставлении актерам рекомендовалось приглядываться к статуям и вглядываться в картины, подмечая и перенимая характерные позы.

<sup>33</sup> Эту легенду Геродот (ок. 484 – 425 гг. до н. э.) передал в 1-й книге своей «Истории» (85).

<sup>34</sup> Плата за вход обычно составляла от одного до пяти шиллингов; восемнадцать пенсов – это полтора шиллинга.

<sup>35</sup> Актеры Роджер Бриджуотер и Уильям Миллз играли в комедиях Филдинга (первый, например, стяжал успех, играя матушку Панчбаул в «Ковентгарденской трагедии»), а также в шекспировских трагедиях.

<sup>36</sup> *Фидий* (кон. V в. до н. э. – ок. 432 – 431 гг. до н. э.), *Пракситель* (ок. 390 – ок. 330 гг. до н. э.) – древнегреческие скульпторы; работали главным образом в Афинах.

– Сударыня, – сказал Джозеф, – я не понимаю, почему если у леди нет добродетели, то ее не должно быть и у меня? Или, скажем, почему, если я мужчина или если я беден, то моя добродетель должна стать прислужницей ее желаний?

– Нет, с ним потеряешь терпение! – вскричала леди. – Кто из смертных слышал когда о мужской добродетели? Где это видано, чтобы даже самые великие или самые степенные из мужчин притязали на что-либо подобное? Разве судьи, карающие разврат, или священники, проповедующие против него, сколько-нибудь совестятся сами ему предаваться? А тут мальчишка, молокосос, так самоуверенно говорит о своей добродетели!

– Сударыня, – сказал тогда Джозеф, – этот мальчишка – брат Памелы, и ему было бы стыдно, когда бы семейное их целомудрие, сохранившееся в ней, оказалось запятнано в нем. Если бывают такие мужчины, о каких говорила ваша милость, я сожалею о том; и я хотел бы, чтобы им представилась возможность прочесть те письма моей сестры Памелы, которые мне переслал мой отец; я не сомневаюсь, что такой пример исправил бы их.

– Бесстыдный негодяй! – вскричала леди в бешенстве. – Он еще меня попрекает безумствами моего родственника, который опозорился на всю округу из-за его сестры, этой ловкой плутовки! Да я никогда не могла понять, как это леди Буби, покойница, терпела ее в своем доме! Прочь с моих глаз, жалкий человек! И чтоб вы сегодня же вечером оставили мой дом! Я прикажу немедленно выплатить вам жалованье, отобрать у вас ливрею и выставить вас вон!

– Сударыня, – молвил Джозеф, – простите, если я оскорбил вашу милость, но, право, я этого никак не хотел.

– Да, жалкий человек! – кричала она. – В своем тщеславии вы истолковали по-своему те маленькие невинные вольности, на которые я пошла, чтобы проверить, правда ли то, что я слышала о вас. А вы, я вижу, имели наглость возомнить, будто я сама к вам равнодушна.

Джозеф ответил, что он позволил себе все это сказать только из опасения за свое целомудрие – слова, от которых леди пришла в буйную ярость и, не желая ничего слушать, велела ему немедленно выйти за дверь.

Не успел он удалиться, как она разразилась такими восклицаниями:

– Куда увлекает нас эта бешеная страсть? Какому унижению мы подвергаем себя, толкаемые ею? Мы мудро делаем, когда противимся ее первым, самым ничтожным порывам; ибо только тогда мы можем обеспечить себе победу. Ни одна женщина не может с уверенностью сказать: «Я дойду до этой черты и не дальше». Не сама ли я довела до того, что оказалась отвергнута моим лакеем? О, эта мысль нестерпима! – Тут она обратилась к звонку и позвонила с безмерно большей силой, чем требовалось, ибо верная Слипслоп стояла тут же у порога: по правде сказать, при последнем свидании с госпожой у нее зародилось некое подозрение, и она поджидала в соседней комнате, старательно приникнув ухом к замочной скважине, все то время, пока шел приведенный выше разговор между Джозефом и леди.

## Глава IX

### **О том, что произошло между леди и миссис Слипслоп; причем предупреждаем, что тут встретятся такие вещи, которые не каждый правильно поймет при первом чтении**

– Слипслоп! – сказала леди. – У меня слишком много оснований верить всему, что ты рассказала мне об этом скверном Джозефе. Я решила сейчас же расстаться с ним; так что ступай к управляющему и прикажи, чтобы он выплатил ему жалованье. Слипслоп держалась с миледи почтительно больше по необходимости, чем по желанию; и считая, что теперь, когда ей раскрылась тайна миледи, всякое различие между ними исчезло, она очень дерзко ответила, что хорошо бы госпоже знать самой, чего она хочет, а она, Слипслоп, уверена, что не успеет сойти с лестницы, как леди опять позовет ее назад. Леди ответила, что «приняла решение и не отступит от него».

– Очень жаль, – вскричала Слипслоп, – знала бы я, что вы решите так сурово наказать молодого человека, вы бы никогда ни звука об этом деле не услышали. Вот уж впрямь: столько шуму из ничего!

– Из ничего? – возразила миледи. – Вы думаете, я стану терпеть в своем доме распутство?

– Если вы станете прогонять каждого лакея, который заводит амуры с какой-нибудь красоткой, – сказала Слипслоп, – вам скоро придется самой отворять дверцы своей кареты или набрать себе в услужение сплошь одних мофродитов; а я и вида их не переношу – даже когда они поют в опере.<sup>37</sup>

– Делайте, как вам приказано, – сказала миледи, – и не оскорбляйте моих ушей вашим варварским языком.

– Ого! Это мне нравится! – вскричала Слипслоп. – Да у некоторых людей уши иногда оказываются самой благопристойной частью их существа.

Миледи, которая уже давно дивилась новому тону, каким заговорила ее домоправительница, а при ее заключительной фразе частично угадала истину, попросила Слипслоп объяснить ей, что значит эта чрезмерная вольность, с какой она позволяет себе распускать свой язык.

– Вольность! – сказала Слипслоп. – Не знаю, что вы называете вольностью; у слуг тоже есть языки, как и у хозяев.

– О да, и наглые к тому же! – ответила госпожа. – Но, уверяю вас, я не потерплю такой дерзости.

– Дерзости! Вот уж не знала, что я дерзкая, – говорит Слипслоп.

– Да, вы дерзки! – кричит миледи. – И если вы не исправите ваших манер, вам не место в этом доме.

– Моих манер! – кричит Слипслоп. – За мной никто никогда не знал, чтобы мне не доставало манер или, например, скромности; а что касается мест, так их не одно и не два; и я что знаю, то знаю.

– Что вы знаете, миссис? – сказала леди.

– Я не обязана говорить это всем и каждому, – ответила Слипслоп, – как и не обязана держать в секрете.

– Извольте искать себе другое место, – сказала миледи.

---

<sup>37</sup> Популярная в Англии итальянская опера и певцы-кастраты были обычной сатирической мишенью. Уже в «Авторском фарсе» (1730 – 1733) Филдинг высмеял под именем синьор Опера знаменитейшего из них, Сенесино (1690? – 1750?), приведенного в Англию самим Генделем. Хогарт изобразил его на 4-м листе своего «Модного брака».

– С полным моим удовольствием, – отозвалась домоправительница и ушла, в сердцах хлопнув за собою дверью.

Леди ясно увидела теперь, что ее домоправительница знает больше, чем ей, госпоже, желательно было бы доводить до ее сведения; она приписала это тому, что Джозеф, очевидно, открыл ей, что произошло при первом их свидании. Это распалило ее гнев против него и утвердило ее в решении расстаться с ним.

Но уволить миссис Слипслоп – на это не так-то легко было решиться: миледи весьма дорожила своей репутацией, зная, что от репутации зависят многие чрезвычайно ценные блага жизни – например, игра в карты, галантные развлечения в общественных местах, а главное: удовольствие губить чужие репутации – невинное занятие, в котором она находила необычайную сладость. Поэтому она решила лучше уж стерпеть любые оскорбления от своей служительницы, чем подвергнуть себя риску лишиться столь больших привилегий.

Итак, она послала за управляющим, мистером Питером Паунсом, и велела ему выплатить жалованье Джозефу, отобрать у него ливрею и в тот же вечер прогнать его из дому.

Затем она вызвала к себе Слипслоп и, подкрепившись стаканчиком настойки, которую держала у себя в шкафу, начала следующим образом:

– Слипслоп, зачем же вы, зная мой горячий нрав, как нарочно, стараетесь рассердить меня вашими ответами? Я уверена, что вы честно мне служите, и мне очень не хотелось бы с вами расстаться. Я думаю также, что и вы не раз находили во мне снисходительную хозяйку и, со своей стороны, не имеете оснований желать перемены. Поэтому я не могу не удивляться, когда вы зачем-то прибегаете к самому верному способу меня оскорбить. Зачем, хочу я сказать, вы повторяете каждое мое слово, – вы же знаете, что я этого не терплю!

Благоразумная домоправительница уже успела все взвесить и по зрелом размышлении пришла к выводу, что лучше держаться за одно хорошее место, чем искать другого. Поэтому, увидев, что хозяйка склонна к снисхождению, она сочла для себя приличным тоже пойти на некоторые уступки, которые приняты были с равной готовностью; таким образом, дело завершилось примирением, все обиды были прощены, и в залог предстоящих милостей верной служительнице подарены были платье и нижняя юбка. Слипслоп попробовала раз-другой закинуть словцо в пользу Джозефа, но, убедившись, что сердце миледи непреклонно, благоразумно отказалась от новых попыток. Она подумала, что в доме есть и другие лакеи и многие из них хотя, быть может, и не так красивы, но не менее сильны и крепки, чем Джозеф; к тому же, как читатель видел, ее нежные авансы не встретили того отклика, какого она вправе была ожидать. Она рассудила, что потратила впустую на неблагодарного бездельника немало десертного вина, и, сходясь до некоторой степени во взглядах с тем разрядом женщин, для которых один здоровый малый почти так же хорош, как и другой, она в конце концов отступилась от Джозефа и его интересов, в гордом торжестве над своею страстью взяла подарки, вышла от госпожи и спокойно уселась с глазу на глаз с графинчиком, что всегда оказывает благотворное действие на склонные к размышлению натуры.

Хозяйку свою она оставила в куда менее спокойном состоянии духа. Бедная леди не могла без содрогания подумать о том, что ее репутация оказалась во власти слуг. В отношении Джозефа она утешала себя только надеждой, что юноша так и не понял ее намерений; по меньшей мере она могла внушать себе, что ничего ему не высказала прямо; что же до миссис Слипслоп, то тут, как ей представлялось, можно было добиться молчания с помощью подкупа.

Но больше всего ее терзало то, что на самом деле она не вполне победила свою страсть; лукавый божок сидел, притаившись, в ее сердце, хотя злоба и презрение так ее слепили и дурманили, что она не замечала его. Тысячу раз она была готова отменить приговор, который вынесла бедному юноше. Любовь выступала адвокатом за него и нашептывала много доводов в его пользу. Чувство Чести также старалось оправдать его преступление, а Жалость – смягчить

наказание. С другой стороны, Гордость и Мечь столь же громко говорили против него, так что бедная леди мучилась сомнением, и противоположные страсти смущали и раздирали ее душу.

Так на заседании суда в Вестминстере, где адвокат Брэмбл представлял одну сторону, а адвокат Пазл<sup>38</sup> – другую (причем суммы, полученные ими в счет гонорара, были в точности равны), мне случалось видеть, как мнение присутствующих, словно весы, клонилось то вправо, то влево. Вот Брэмбл бросает свой довод, и чаша Пазла взлетает вверх; а вот та же судьба постигает чашу Брэмбла, сраженного более веским доводом Пазла. То Брэмбл сделает выпад, то нанесет удар Пазлу; то один убедит вас, то другой, – пока наконец истерзанные умы слушателей не придут в полное смятение; равные пари предлагаются за ту и за другую сторону, и ни судья, ни присяжные не могут разобраться в деле: так постарались заботливые жрецы закона окутать все сомнением и мраком.

Или как происходит это с совестью, которую честь и справедливость тянут в одну сторону, а подкуп и необходимость в другую... Если бы единственной нашей задачей было подбирать метафоры, мы могли бы привести их здесь еще немало, но для умного человека довольно и одной метафоры (как и одного слова). Поэтому мы лучше последуем за нашим героем, о котором читатель, наверно, начинает уже беспокоиться.

---

<sup>38</sup> *Брэмбл* и *Пазл* – смысловые фамилии: репей (строго говоря – терновник) и путаник.

## Глава X

### Джозеф пишет еще одно письмо; его расчеты с мистером Питером Паунсом и т. д. и уход его от леди Буби

Злополучный Джозеф не обладал бы разумением, достаточным для главного действующего лица такой книги, как эта, если б он все еще не уяснил себе намерений своей госпожи; и в самом деле, если он не разобрался в них раньше, то читатель может с приятностью это приписать его нежеланию открыть в миледи то, что он должен был бы осудить в ней как порок. Поэтому, когда она прогнала его с глаз, он удалился к себе на чердак и стал горько сетовать на бесчисленные беды, преследующие красоту, и на то, как плохо быть красивее своих ближних.

Потом он сел и отнесся к сестре своей Памеле со следующим письмом:

«Любезная сестрица Памела!

Надеясь, что вы в добром здравии, я сообщу вам удивительную новость. О Памела, моя госпожа влюбилась в меня. То есть это у больших господ называется влюбиться, а на деле означает, что она задумала меня погубить; но, я надеюсь, не так во мне мало твердости духа и пристойности, чтобы я расстался с добродетелью ради какой бы то ни было миледи на земле.

Мистер Адамс часто говорил мне, что целомудрие – такая же великая добродетель в мужчине, как и в женщине. Он говорил, что, вступая в брак, знал не больше, чем его жена; и я постараюсь последовать его примеру. В самом деле, только лишь благодаря его замечательным проповедям и наставлениям, а так же вашим письмам у меня достало силы противиться искушению, которому, как он говорит, человек не должен поддаваться, иначе он неизбежно раскается на этом свете или же будет осужден за гробом; а как же мне полагаться на покаяние на смертном одре, коль скоро я могу помереть во сне? Какая превосходная вещь – доброе наставление и добрый пример! Но я рад, что миледи выгнала меня из опочивальни, потому что я в тот час едва не забыл все слова, какие когда-либо говорил мне пастор Адамс.

Не сомневаюсь, милая сестрица, что у вас достанет твердости духа сохранить вашу добродетель вопреки всем испытаниям; и я душевно прошу вас помолиться, чтобы и у меня достало силы сохранить мою: ибо воистину на нее ведется жестокий натиск – и не одною этой женщиной; но я надеюсь, что, следуя во всем вашему примеру и примеру моего тезки Иосифа, я сохраню свою добродетель против всех искушений...»

Джозеф еще не дописал письма, когда мистер Питер Паунс <sup>39</sup> кликнул его, чтобы он шел вниз получать жалованье. А надо сказать, Джозеф из своих восьми фунтов в год <sup>40</sup> посылал четыре родителям и, чтобы купить себе музыкальные инструменты, вынужден был прибегнуть к великодушию вышеназванного Питера, который в крайности нередко выручал слуг, выплачивая им жалованье вперед: то есть не ранее того срока, когда оно им причиталось, но ранее возможного срока уплаты; а это значит примерно еще полгода спустя, после того как оно им следовало, – и делал он это за скромную мзду в пятьдесят процентов или несколько выше. Таким милосердным способом, а также ссужая деньги в долг другим лицам, вплоть до соб-

---

<sup>39</sup> *Питер Паунс* – У этого героя есть реальный прототип: дорсетширский земельный агент и ростовщик Питер Уолтер, сколотивший состояние под 300 000 (!) фунтов. Фамилия героя означает: сандарак (порошок, которым присыпают чернила), и в то же время в ней «слышатся» пенсы.

<sup>40</sup> Расходы на слугу обычно составляли 10 фунтов в год. Сюда входило жалованье и стоимость содержания (стол, одежда).

ственных своих господ, этот честный человек, не имея раньше ничего, сколотил капитал в двадцать пять тысяч фунтов или около того.

Когда Джозефу выдали скромный остаток его жалованья и сняли с него ливрею, ему пришлось занять у одного из слуг ливрейный кафтан и штаны (его так любили в доме, что каждый охотно одолжил бы ему что угодно); затем, услышав от Питера, что он не должен оставаться в доме ни минуты дольше, чем потребуется на укладку белья, – а уложил он его без труда в очень небольшой узелок, – юноша грустно простился со своими сотоварищами слугами и в семь часов вечера пустился в путь. Он прошел две-три улицы, прежде чем решил, оставить ли город в эту же ночь или, обеспечив себе ночлег, переждать до утра. Месяц светил очень ярко, и это наконец определило его решение двинуться в дорогу немедленно – к чему у него были и некоторые другие побуждения, которые читатель, не будучи ясновидцем, едва ли может разгадать, покуда мы не дали ему тех намеков, для каких теперь, пожалуй, настала пора.

## Глава XI

### О некоторых новых неожиданных обстоятельствах

Не раз наблюдалось, что, высказывая наше мнение о простоватом человеке, мы говорим: «Его видно насквозь». И я не думаю, что это обозначение было менее уместно в отношении простоватой книги. Чем сослаться на какое-нибудь произведение, мы предпочли показать пример обратного в этой нашей повести; и проникателен будет тот читатель, который сможет что-нибудь провидеть на две главы вперед.

Из этих соображений мы до сих пор не упомянули об одном обстоятельстве, которое теперь, по-видимому, необходимо разъяснить; ибо может показаться странным, во-первых, почему Джозеф с такой чрезвычайной поспешностью двинулся из города (как было показано выше), а во-вторых, почему он (как будет показано сейчас), вместо того чтобы направиться к родительскому дому или к своей возлюбленной сестре Памеле, предпочел устремиться со всей скоростью в поместье леди Буби, откуда его в свое время вывезли в Лондон.

Итак, да будет известно, что в том же приходе, где находилось это поместье, проживала юная девица, к которой Джозеф (хоть и был он нежнейшим сыном и братом) стремился с большим нетерпением, чем к своим родителям или сестре. Это была бедная девушка, воспитывавшаяся сначала в доме сэра Джона <sup>41</sup>, откуда потом, незадолго до переезда семейства в Лондон, она была изгнана стараниями миссис Слипслоп за необычайную свою красоту: других оснований мне никак не удалось установить. Юное это создание (проживавшее теперь у одного фермера в том же приходе) было издавна любимо Джозефом и отвечало ему взаимностью. Девушка была всего на два года моложе нашего героя. Они знали друг друга с младенчества, и с самых ранних пор в них зародилась склонность друг к другу, перешедшая затем в такое сильное чувство, что мистеру Адамсу стоило большого труда предотвратить их бракосочетание и убедить их, чтоб они подождали, покуда несколько лет службы и бережливости не прибавят им опыта и не обеспечат им безбедную совместную жизнь.

Они последовали увещаниям этого доброго человека, так как поистине его слово было в приходе почти равносильно закону: в течение тридцати пяти лет он всем своим поведением неизменно доказывал прихожанам, что радуется всем сердцем об их благе, так что они по каждому случаю обращались к своему пастору и очень редко поступали наперекор его совету.

Нельзя вообразить себе ничего нежнее, чем расставание этой любящей четы. Тысяча вздохов вздымала грудь Джозефа; тысячу ручьев источали прелестные глазки Фанни (так звали ее); и хотя скромность позволила ей принимать только жаркие поцелуи друга, все же пламенная любовь делала ее отнюдь не бесстрастной на его груди, и она снова и снова привлекала милого к сердцу и нежно сжимала в объятии, которое, хотя едва ли удушило бы насмерть муху, в сердце Джозефа пробуждало больше волнения, чем могла бы вызвать самая крепкая корнуэльская хватка. <sup>42</sup>

Читателя, быть может, удивит, что столь преданные влюбленные, находясь двенадцать месяцев в разлуке, не вели между собою переписки; и в самом деле, этому мешала и могла мешать только одна причина, – та, что бедная Фанни не знала грамоте, а никакая сила в мире не склонила бы ее писать о своей чистой и стыдливой страсти рукой какого-нибудь писца.

---

<sup>41</sup> Надо: в доме сэра Томаса (Буби). Оговорка Филдинга не случайна: однажды он назвал хозяйку ричардсоновской Памелы: «покойная леди Джон Буби» (в переводе это не сохранено); таким образом, Джон Буби (отец мужа Памелы) – брат Томаса Буби. В этих именах Филдинг и запутался.

<sup>42</sup> Корнуэльские борцы славились силой и ловкостью. Уроженцем Корнуэлла был, кстати сказать, Джек Победитель Великанов.

Поэтому они довольствовались тем, что часто справлялись друг о друге, не сомневались в обоюдной верности и с твердой надеждой ждали будущего счастья.

Разъяснив читателю эти обстоятельства и разрешив по возможности все его недоумения, вернемся к честному нашему Джозефу, которого мы оставили в тот час, когда он при свете месяца пустился в свое путешествие.

Те, кто читал какие-либо романы или стихи, древние или современные, не могут не знать, что у любви есть крылья; это положение, однако, им не следует понимать так, как оно ошибочно толкуется некоторыми юными девицами, – будто влюбленный может летать; своей тонкой аллегорией писатели хотят указать лишь на то, что влюбленные не ходят, как конногвардейцы; короче сказать, что они умеют перебирать ногами; и наш Джозеф, крепкий малый, не уступавший лучшим ходокам, в этот вечер шагал так добросовестно, что через четыре часа достиг странноприимного дома, хорошо известного путешественнику, направляющемуся на запад. Его вывеска являет вам изображение льва; а хозяин его, получивший при крещении имя Тимотеус, именуется обычно просто Тимом.<sup>43</sup> Некоторые полагают, что он нарочно осенил свое заведение знаком льва, так как по внешнему виду сам сильно схож с этим благородным зверем, хотя нравом напоминает скорее кроткого ягненка. Он из тех людей, каких охотно принимает в свое общество человек любого звания, – так он умеет быть приятен каждому; и к тому же он может потолковать об истории и о политике, кое-что смыслит в законах и в богословии, умеет пошутить и чудесно играет на кларнете.

Сильная буря с градом заставила Джозефа искать убежища в этой гостинице, где, как ему припомнилось, обедал по пути в город покойный сэр Томас. Джозеф не успел присесть на кухне у огня, как Тимотеус, приметив его ливрею<sup>44</sup>, стал высказывать ему соболезнования по поводу смерти его господина, которого он назвал самым своим близким, закадычным другом и вспомнил, как они в свое время «раздавили вдвоем не одну бутылку, не одну дюжину бутылок». Потом он добавил, что все это ныне миновало, все прошло, как не бывало; и закончил превосходным замечанием о неизбежности смерти, которое жена его объявила поистине справедливым. Тут в гостиницу явился человек с двумя лошадьми, одну из которых он вел для своего господина, назначившего ему встречу в деревне подальше; вновь прибывший поставил лошадей на конюшню, а сам вернулся и сел подле Джозефа, и тот сразу признал в нем слугу одного соседа-помещика, часто приезжавшего в гости к его господам.

Человека этого тоже загнала в гостиницу непогода; ему было приказано проехать в этот вечер еще миль двадцать – и как раз по той же дороге, которую выбрал себе Джозеф. Он не преминул тут же предложить приятелю лошадь своего хозяина (хоть и получил вполне точные распоряжения обратного свойства), на что Джозеф охотно согласился; итак, распив добрый кувшин эля и переждав непогоду, они поехали дальше вдвоем.

---

<sup>43</sup> Вероятно, Тимоти Харрис (ум. 1748), владелец постоянного двора «Красный лев» в городке Эгам (графство Суррей). Филдинг упомянет его в «Томе Джонсе» с характеристикой: «просвещенный ресторатор» (кн. VIII, гл. 8).

<sup>44</sup> Пример забывчивости Филдинга: при расчете (это предыдущая глава) у Джозефа отобрали ливрею.

## **Глава XII, содержащая ряд удивительных приключений, которые постигли Джозефа Эндруса в дороге и покажутся почти невероятным тому, кто никогда не путешествовал в почтовой карете**

дороге не произошло ничего примечательного, пока они не доехали до гостиницы, в которую приказано было доставить лошадей и куда они прибыли к двум часам утра. Месяц светил очень ярко; и Джозеф, угостив приятеля пинтой вина, поблагодарил его за лошадь и, не сдаваясь на его уговоры, пустился дальше пешком.

Не прошел он и двух миль, ласкаемый надеждой скоро увидеть свою возлюбленную Фанни, как ему повстречались на узком проселке два парня и велели остановиться и вывернуть карманы. Он с готовностью отдал им все деньги, какие имел, – без малого два фунта, – и выразил надежду, что они будут столь великодушны и вернут ему несколько шиллингов на дорожные расходы. Один из негодяев выругался и ответил:

– Да, кое-что мы тебе выдадим, как раз! Только сперва разденься, черт тебя подери!

– Раздевайся! – крикнул второй. – Или я вышибу к дьяволу мозги из твоей башки!

Джозеф, памятуя, что взял свой кафтан и штаны у приятеля и что совестно будет не вернуть их, на какие ни ссылайся обстоятельства, выразил надежду, что они не будут настаивать на получении его платья, так как цена ему небольшая, а ночь холодна.

– Ах, тебе холодно, холодно тебе, мерзавец! – сказал первый грабитель. – Так я тебя согрею, будь спокоен! – и, добавив что-то вроде «лопни мои глаза», он навел пистолет прямо Джозефу в лоб; но не успел он выстрелить, как другой уже нанес Джозефу удар дубинкой, которую тот, будучи мастером игры в дубинки, отшиб своею и так успешно отплатил противнику, что тот распростерся у его ног; однако сам Джозеф в то же мгновение получил от второго негодяя такой удар по затылку рукоятью пистолета, что свалился наземь и лишился чувств.

Вор, сбитый им с ног, теперь оправился, и они принялись вдвоем обрабатывать бедного Джозефа своими палками, а потом, решив, что положили конец его жалкому существованию, раздели его донага, бросили в канаву и ушли со своей добычей.

Бедный малый, долго пролежав без движения, начал приходить в чувство как раз к тому часу, когда мимо проезжала почтовая карета. Почтарь, услышав стоны, придержал лошадей и сказал кучеру, что в канаве наверняка лежит мертвец, ибо он слышал его стон.

– Брось, любезный, – сказал кучер, – мы и так, черт возьми, опаздываем, некогда тут возиться с мертвецами!

Одна из пассажирок, слышавшая слова почтаря, равно как и стоны, громко крикнула кучеру, чтобы он остановил карету и посмотрел, в чем там дело. Кучер на это предложил почтарю слезть с козел и заглянуть в канаву. Тот пошел, посмотрел и доложил, что «там мужчина сидит прямо в чем мать родила».

– Боже! – вскричала леди. – Голый мужчина! Кучер, дорогой, поезжайте дальше и оставьте его!

Тут пассажиры-мужчины вылезли из кареты; и Джозеф стал молить их сжалиться над ним, поскольку его ограбили и избили до полусмерти.

– Ограбили! – вскричал один старый джентльмен. – Едем, и как можно быстрее, а то и нас ограбят.

Молодой человек, принадлежавший к судейскому сословию, возразил, что предпочтительней было бы проехать мимо, не обращая внимания; но теперь может быть доказано, что

они находились в обществе пострадавшего последними, и, если тот умрет, их могут привлечь к ответу, как его убийц. Поэтому он рекомендует, если возможно, спасти несчастному жизнь ради собственной безопасности, – дабы в случае его смерти можно было отклонить от себя обвинение следствия в том, что они бежали от места убийства. А посему его мнение таково, что следует взять этого человека в карету и довезти до ближайшей гостиницы. Леди настаивала, что его нельзя сажать в карету; что если они его возьмут, то она сама выйдет вон: она скорее простоят здесь до скончания века, чем поедет с голым мужчиной. Кучер утверждал, что не может допустить в карету пассажира и везти его четыре мили, если кто-нибудь не заплатит шиллинг за его проезд, – от чего оба джентльмена уклонились. Но законник, опасавшийся, как бы не вышло худо для него самого, если оставить несчастного на дороге в таком положении, принялся запугивать кучера, говоря, что в таких делах никакая осторожность не может оказаться чрезмерной, что он знает из книг самые необычайные случаи и что кучер подвергается опасности, отказываясь взять несчастного: ибо если человек умрет, то он, кучер, будет обвинен в его убийстве, если же человек выживет и подаст на него в суд, то он, адвокат, сам охотно возьмет на себя ведение дела. Эти слова подействовали на кучера, хорошо знавшего того, кто говорил их; а вышеупомянутый старый джентльмен, полагая, что голый человек доставит ему не один случай показать свое остроумие перед дамой, предложил войти в долю, если все в складчину угостят кучера кружкой пива за провоз добавочного пассажира; итак, отчасти встревоженный угрозами одного, отчасти прельщенный посулами другого, а может быть и поддавшись состраданию к несчастному, который стоял весь в крови и дрожал от холода, кучер наконец уступил; и Джозеф подошел было к карете, но увидел даму, заслонявшую глаза веером, и, как ни тяжело было его положение, наотрез отказался войти, если его не снабдят достаточным покровом, чтоб он мог это сделать, нисколько не нарушая приличия. Так безупречно скромным был этот молодой человек; такое могучее воздействие оказали на него добродетельный пример его любезной Памелы и превосходные проповеди мистера Адамса!



Хотя в карете имелось несколько верхних кафтанов, оказалось совсем нелегко преодолеть затруднение, на которое указал Джозеф. Оба джентльмена стали жаловаться, что зябнут и не могут отдать ни лоскута, – причем остроумец со смехом добавил, что «своя рубашка к телу ближе»; кучер, подстеливший себе два кафтана на козлы, отказался поступиться хоть одним из них, не желая получить его обратно окровавленным; лакей леди попросил извинить его на том же основании, а леди, невзирая на свой ужас перед голым мужчиной, поддержала своего слугу; и более чем вероятно, что бедному Джозефу, упрямо стоявшему на своем скромном решении, так и пришлось бы погибнуть на дороге, если бы почтарь (паренек, высланный впоследствии в колонии за кражу курицы) добровольно не скинул с себя кафтан, свою единственную верхнюю одежду, крепко при этом побожившись (чем навлек на себя упреки пассажиров), что он скорее согласится всю жизнь ездить в одной рубахе, чем бросит человека в таком несчастном положении.

Джозеф надел кафтан, его посадили, и карета тронулась дальше в путь. Он признался, что до смерти озяб, чем доставил остроумцу случай спросить у леди, не может ли она предложить несчастному глоток чего-нибудь согревающего. Леди ответила не без досады, что ее удивляет, как может джентльмен обращаться к ней с таким вопросом; она, конечно, никогда и не пробовала ничего такого.

Законовед стал было расспрашивать Джозефа про обстоятельства ограбления, как вдруг карету остановили разбойники и один из них, наведя пистолет, потребовал у пассажиров их деньги; те с готовностью отдали, а леди со страху протянула еще и небольшой серебряный флакон, так на полпинты, в котором, по заявлению негодяя, приложившего его к губам и хлебнувшего за ее здоровье, оказалась великолепнейшая водка, – каковое недоразумение леди впоследствии объяснила попутчикам ошибкою своей служанки: ей будто бы приказано было наполнить флакон ароматической водой.

Как только молодцы удалились, законовед, у которого, как выяснилось, был запрятан в сиденье кареты ящик с пистолетами, сообщил попутчикам, что если бы дело происходило при дневном свете и если бы он мог добраться до своего оружия, то он не допустил бы ограбления; к этому он присовокупил, что не раз встречался с дорожными грабителями, совершая путешествие верхом, и ни один не посмел напасть на него; и в заключение добавил, что, не опасайся он за даму больше, чем за себя самого, он бы и теперь не расстался так легко со своими деньгами.

Остроумие, по общему наблюдению, любит жить в пустых карманах; и вот старый джентльмен, чей находчивый ум мы уже отметили выше, едва расставшись со своими деньгами, пришел в удивительно игривое настроение. Он отпустил несколько намеков на Адама и Еву и сказал много замечательных вещей о фигах и фиговых листьях, – которые, может быть, больше оскорбляли Джозефа, чем кого-либо другого в карете.

Законовед тоже подарил обществу несколько милых шуток, не отклоняясь в них от своей профессии. Если бы, говорил он, Джозеф и леди были одни, то молодой человек мог бы с большим успехом произвести передачу ей своего имущества, ничем в данном случае не обремененного; он, юрист, гарантирует, что истец легко добился бы возмещения убытков и получил бы исполнительный лист, вводящий его во владение, вслед за чем, несомненно, явились бы наследники на ограниченных правах; он сам, со своей стороны, взялся бы тут же в карете составить такую надежную дарственную запись, что всякая опасность преждевременного изъятия со взысканием издержек была бы устранена. Подобный вздор он изливал потоком, пока карета не прибыла на постоянный двор, где кучера встретила только девушка служанка, которая и предложила ему холодного мяса и кружку эля. Джозеф пожелал сойти и попросил, чтобы ему приготовили постель, что девушка охотно взялась исполнить; и, будучи от природы добросердечна и не так щепетильна, как леди в карете, она подкинула в огонь большую охапку хвороста и, снабдив Джозефа кафтаном, принадлежавшим одному из конюхов, предложила ему посидеть и погреться, пока она ему постелит. Кучер же тем временем сходил за врачом, проживавшим почти рядом, через несколько домов; после чего он напомнил своим пассажирам, что они запаздывают, и, дав им попрощаться с Джозефом, поспешил усадить их в карету и увезти.

Девушка вскоре уложила Джозефа и пообещала, что постарается раздобыть ему рубашку; но видя, что он весь в крови, и вообразив, как она потом объяснила, что он, того и гляди, помрет, она пустилась со всех ног торопить врача, который был уже почти одет, так как сразу вскочил, подумав, что опрокинулась карета и пострадал какой-нибудь джентльмен или леди. Когда же служанка сообщила ему в окно, что дело идет о бедном пешеходе, у которого стацили все, что было при нем и на нем, и которого едва не убили, – он ее отругал: зачем-де она тревожит его в такую рань, снова снял с себя одежду и преспокойно улегся и заснул.

Аврора уже начала показывать из-за холмов свои румяные щеки и десять миллионов пернатых певцов, радостным хором распевая оды, в тысячу раз более сладостные, нежели оды нашего лауреата<sup>45</sup>, славили наравне День и Песнь, – когда хозяин постоянного двора мистер Тау-Вауз встал ото сна и, узнав от своей служанки об ограблении и о своем несчастном голом постояльце, покачал головой и воскликнул: «Ну и денек!» – и тут же велел девушке принести одну из его собственных рубашек.

Миссис Тау-Вауз только что пробудилась и тщетно простирала руки, чтобы заключить в объятия ушедшего супруга, когда в комнату вошла служанка.

– Кто тут? Бетти, ты?

– Да, сударыня.

– Где хозяин?

---

<sup>45</sup> Поэтом-лауреатом К. Сиббер (см. коммент. к с. 46) стал в 1730 г. Его «достижения» на этом поприще доставили ему звание Короля Чурбана в «Дунсиаде» Попа.

– Он во дворе, сударыня; он прислал меня за рубашкой, чтобы дать ее на время бедному голому человеку, которого ограбили и чуть не убили.

– Посмей только тронуть хоть одну, мерзавка! – сказала миссис Тау-Вауз. – С твоего хозяина как раз станется собирать в дом голых бродяг и одевать их в свою одежду! Я этого не потерплю. Тронь хоть одну, и я запущу тебе в голову ночной горшок! Ступай пришли ко мне хозяина.

– Слушаю, сударыня, – ответила Бетти.

Как только муж вернулся, супруга начала:

– Какого дьявола вы тут затеваете, мистер Тау-Вауз? Я должна покупать рубашки, чтобы их раздавали грязным оборванцам?

– Моя дорогая, – сказал мистер Тау-Вауз, – это несчастный бедняк...

– Да, – сказала она, – я знаю: несчастный бедняк; но на кой нам дьявол несчастные бедняки? Закон и без того заставляет нас кормить их целую ораву. Скоро к нам сюда зайвится человек тридцать – сорок несчастных бедняков в красных кафтанах.

– Моя дорогая! – вскричал Тау-Вауз. – Этого человека ограбили, отобрали все, что у него было.

– Так, – сказала она, – где же у него тогда деньги, чтобы заплатить по счету? Почему такой молодчик не идет в кабаки? Вот я встану и мигом выставлю его за дверь!

– Моя дорогая, – сказал муж, – простое милосердие не позволяет, чтобы ты так поступила.

– Плевать я хотела на простое милосердие! – сказала жена. – Простое милосердие учит нас заботиться прежде всего о себе и о наших семьях; я и мои родные не дадим тебе разорять нас твоим милосердием, уж будь уверен!

– Ну, хорошо, дорогая моя, – сказал он, – делай, как хочешь, когда встанешь; ты же знаешь, я никогда тебе не перечу.

– Еще бы! – сказала она. – Да вздумай сам черт мне перечить, я ему такого задаю жару, что он у меня живо сбежал бы со двора!

На эти разговоры у них ушло около получаса, а Бетти тем временем раздобыла рубашку у конюха – одного из своих поклонников – и надела ее на бедного Джозефа. Врач тоже наконец навесил его, обмыл и перевязал ему раны и теперь явился объявить мистеру Тау-Ваузу, что жизнь его постояльца в крайней опасности, так что почти нет надежды на выздоровление.

– Веселенькую заварил ты кашу! – вскричала миссис Тау-Вауз. – И не расхлебашь! Нам, чего доброго, придется еще хоронить его на свой счет.

Тау-Вауз (который, при всем своем милосердии, отдал бы свой голос – так же свободно, как отдавал на всех выборах, – за то, чтобы его постояльцем спокойно владел сейчас любой другой дом в королевстве) ответил:

– Моя дорогая, я не виноват: его привезли сюда в почтовой карете; и Бетти уложила его в постель, когда я еще и не проснулся.

– Я вам покажу такую Бетти!... – сказала жена.

После чего, натянув на себя половину своей одежды, а остальное захватив под мышку, она выбежала вон на поиски злополучной Бетти, между тем как Тау-Вауз и врач пошли проведать беднягу Джозефа и расспросить во всех подробностях о печальном происшествии.

## Глава XIII

### Что случилось с Джозефом на постоялом дворе во время его болезни, и любопытный разговор между ним и мистером Барнабасом, приходским пастором

Рассказав подробно историю ограбления и кратко сообщив о себе, кто он такой и куда держит путь, Джозеф спросил врача, считает ли тот его положение сколько-нибудь опасным; на что врач со всей откровенностью ответил, что действительно боится за него, потому что «пульс у него очень возбужденный и лихорадочный, и если эта лихорадка окажется не только симптоматической, то спасти его будет невозможно». Джозеф испустил глубокий вздох и воскликнул:

– Бедная Фанни, как я хотел бы жить, чтобы увидеть тебя! Но да свершится воля божья!

Тогда врач посоветовал ему, если есть у него мирские дела, уладить их как можно скорее; ибо, сохраняя надежду на его выздоровление, он, врач, все же почитает своим долгом сообщить ему, что опасность велика; и если злокачественное сгущение гуморов вызовет сушцитазию лихорадки, то вскоре у него, несомненно, начнется бред, вследствие чего он будет неспособен составить завещание <sup>46</sup>. Джозеф ответил, что во всей вселенной не может быть создания более нищего, чем он, ибо после ограбления у него нет ни одной вещи, хоть самой малоценной, которую он мог бы назвать своею.

– Была у меня, – сказал он, – маленькая золотая монетка – у меня отняли ее; а она была бы для меня утешением во всех моих горестях! Но поистине, Фанни, я не нуждаюсь ни в каких памятках, чтобы помнить о тебе! Я ношу твой любезный образ в сердце моем, и никогда ни один негодяй не вырвет его оттуда.

Джозеф попросил бумаги и перьев, чтобы написать письмо, но ему было отказано в них и был преподан совет направить все усилия к тому, чтоб успокоиться. Засим врач и хозяин вышли от него; и мистер Тау-Вауз послал за священником, чтобы тот пришел и свершил обряды, необходимые для души несчастного Джозефа, коль скоро врач отчаялся чем-нибудь помочь его телу.

Мистер Барнабас (так звали священника) явился по первому зову и, распив сперва котелок чаю с хозяйкой, а затем кувшин пунша с хозяином, поднялся в комнату, где лежал Джозеф, но, найдя его спящим, опять сошел вниз – подкрепиться еще разок; покончив с этим, он опять взобрался потихоньку наверх, постоял у двери и, приоткрыв ее, услышал, как больной разговаривает сам с собой следующим образом:

– О моя обожаемая Памела! Добродетельнейшая из сестер, чей пример один лишь и мог дать мне силу не уступить соблазнам богатства и красоты и сохранить мою добродетель, чтобы чистым и целомудренным приняла меня моя любезная Фанни, если бы угодно было небу привести меня в ее объятия! Разве могут богатства, и почести, и наслаждения возместить нам потерю невинности? Не она ли единственная дает нам больше утешения, чем все мирские блага? Что, кроме невинности и добродетели, могло бы утешить такого жалкого страдальца, как я? А с ними это ложе болезни и мук мне милее всех наслаждений, какие доставила бы мне постель моей госпожи. Они позволяют мне смотреть без страха в лицо смерти; и хотя я люблю мою Фанни так сильно, как никогда не любил женщину ни один мужчина, они учат меня без сожаления смириться перед божественной волей. О ты, восхитительно милое создание! Если бы небо привело тебя в мои объятия, самое бедное, самое низкое состояние было бы нам раем! Я мог бы жить с тобою в самой убогой хижине, не завидуя ни дворцам, ни усладам,

---

<sup>46</sup> Согласно Гиппократу (ок. 460 – 370 гг. до н. э.), человек болеет, если нарушены пропорции, в каких смешаны в его организме «гуморы», то есть жидкости: кровь, слизь и два вида желчи – желтая и черная.

ни богатствам ни единого смертного на земле. Но я должен оставить тебя, оставить навеки, мой дражайший ангел! Я должен думать о мире ином; и я от всей души молюсь, чтобы тебе дано было найти утешение в этом!

Барнабас решил, что услышал предостаточно; он сошел вниз и сказал Тау-Ваузу, что не может сослужить никакой службы его постояльцу, потому что у юноши бред и все время, пока он, священник, находился в его комнате, он нес самую бессмысленную чушь.

Днем еще раз заглянул врач и нашел пациента в еще более сильной, по его словам, лихорадке, чем утром, но все же не в бреду: ибо, вопреки мнению мистера Барнабаса, больной ни разу с самого своего прибытия в гостиницу не терял сознания.

Послали опять за мистером Барнабасом и с большим трудом уговорили его прийти вторично. Едва войдя в комнату, пастор сказал Джозефу, что пришел помолиться вместе с ним и подготовить его к переходу в другой мир; так вот, первым делом, он надеется, умирающий раскаялся во всех своих грехах?

Джозеф отвечал, что и он на это надеется, но что есть одна вещь, про которую он сам не знает, должен ли он почитать ее грехом, а если да, то он боится, что умрет нераскаянным грешником; и это не что иное, как сожаление о разлуке с молодой девушкой, которую он любит «всеми нежными струнами сердца». Барнабас стал ему внушать, что всякое возмущение против воли божьей есть величайший грех, какой может совершить человек; что он должен забыть все плотские стремления и думать о более высоких предметах. Джозеф сказал, что ни в этом, ни в будущем мире не забудет свою Фанни и что хотя мысль о вечной разлуке с нею очень тягостна, все же она и вполнину не так мучительна, как страх перед тем страданием, какое испытает его милая, когда узнает о постигшем его несчастье. Барнабас сказал, что «такие страхи свидетельствуют о маловерии и малодушии, сугубо преступных»; что умирающий должен отрешиться от всех человеческих страстей и устремить помыслы свои к всевышнему. Джозеф ответил, что сам этого жаждет и что священник весьма его обяжет, если поможет ему это сделать. Барнабас ему сказал, что это дается милостью господней. Джозеф попросил открыть ему, как она достигается. Верой и молитвой, ответил Барнабас и спросил затем, простил ли он воров. Джозеф признался, что нет и что простить их – выше его сил, ибо ничто его так не порадовало бы, как услышать, что они пойманы.

– Это, – воскликнул Барнабас, – значит лишь желать правосудия!

– Да, – сказал Джозеф, – но если бы мне довелось встретиться с ними еще раз – боюсь, я набросился бы на них и убил бы их, если б мог.

– Несомненно, – ответил Барнабас, – убивать воров – дело вполне законное; но можете ли вы сказать, что вы их простили, как должен прощать христианин?

Джозеф попросил объяснить ему, что это значит.

– Это значит, – отвечал Барнабас, – простить их, как... как... это значит простить их, как... словом, простить их по-христиански.

Джозеф сказал, что он их простил, насколько мог.

– Вот и хорошо, – сказал Барнабас, – этого достаточно.

Затем священник спросил его, не припомнит ли он еще каких-либо грехов, в каких еще не покаялся, и если да, то пусть поспешит с покаянием, чтобы им успеть еще прочитать вместе несколько молитв. Джозеф ответил, что не помнит за собой никаких тяжких прегрешений, а о тех, какие совершил, он искренне сожалеет.

Барнабас удовлетворился таким ответом и тут же приступил к молитве со всей поспешностью, на какую был способен, ибо в зале его дожидалось небольшое общество и было уже подано все, что требуется для приготовления пунша, но никто не соглашался выжать апельсины, пока он не придет.

Джозеф пожаловался на жажду и попросил чая, о чем Барнабас доложил миссис Тау-Вауз; но та ответила, что она только что отпила чай и не может весь день возиться; все же она велела Бетти снести больному наверх полкружки пива.

Бетти исполнила приказание хозяйки; но Джозеф, едва пригубив, высказал опасение, что этот напиток усилит у него жар, и добавил, что ему хочется именно чая; на что сердобольная Бетти ответила, что он непременно его получит, – разве что не окажется ни щепотки во всей Англии; и она тут же пошла и сама купила Джозефу немного чая и стала его поить; за этим занятием мы и оставим их на время и займем читателя другими вещами.

## Глава XIV, полная приключений, которые следовали в гостинице одно за другим

Надвигались вечерние сумерки, когда во двор гостиницы въехал степенного вида человек и, препоручив свою лошадь конюху, направился напрямиком на кухню, потребовал трубку с табаком и сел у очага, где уже собралось несколько посетителей. Беседа шла исключительно о грабеже, совершенном прошлой ночью, и о несчастливце, лежавшем наверху в том ужасном состоянии, в каком мы его уже видели. Миссис Тау-Вауз сказала, что ей хотелось бы знать, какого черта кучер Том Уипвел<sup>47</sup> заводит в ее дом таких гостей, когда на дороге сколько угодно кабаков, где они могли бы приткнуться; но пусть ее муж не забывает: если постоялец умрет у них в доме, то расходы по его похоронам лягут на приход; и верьте не верьте, а этот молодчик требует только чая – другого ему ничего не нужно!

Бетти, только что спустившаяся вниз после своего милосердного дела, объявила, что молодой человек, по ее суждению, джентльмен, потому что она в жизни своей не видывала более нежной кожи.

– Чума на нее! – возразила миссис Тау-Вауз. – Кроме как шкурой, ему, наверно, нечем будет заплатить нам по счету. Такие джентльмены пусть уж лучше никогда не заезжают в «Дракон» (гостиница, по-видимому, осенена была знаком дракона).

Джентльмен, прибывший последним, проявил большое сочувствие к несчастью бедняги, который, как он видел, попал в не слишком сострадательные руки. И в самом деле, если миссис Тау-Вауз не обнаруживала в речах нежности нрава, то над лицом ее природа так потрудились, что сам Хогарт никогда не придавал ни одному портрету большей выразительности.

Это была особа малорослая, худая и скрюченная. Лоб у нее был сильно выпуклый на середине, а далее шел впадиной до начала носа, заостренного и красного, который навис бы над губами, не позаботясь природа загнуть кверху его конец. Губы представляли собой две полоски кожи, которые, когда она говорила, стягивались кошелечком. Подбородок был у нее клином; а у верхнего края тех лоскутов кожи, что заменяли ей щеки, выдавались две кости, почти прикрывавшие маленькие красные глазки. Прибавьте к этому голос, удивительнейшим образом приспособленный к тем чувствам, какие он должен был передавать, – громкий и вместе хриплый.

Трудно сказать, что сильнее чувствовал джентльмен – неприязнь к хозяйке или сострадание к ее постояльцу. Он очень озабоченно стал выспрашивать врача, зашедшего теперь на кухню, есть ли хотя бы небольшая надежда на выздоровление больного. Он молил его употребить для этого все возможные средства, внушая, что «долг человека любой профессии – применять свое искусство *gratis*<sup>48</sup> в помощь всем несчастным и нуждающимся». Врач ответил, что он постарается, но тут же высказал убеждение, что, сзови хоть всех врачей Лондона, ни один из них ничем уже не поможет страдальцу.

– Скажите, пожалуйста, сэр, – спросил джентльмен, – какие у него раны?

– А вы что-нибудь понимаете в ранах? – сказал врач, перемигнувшись при этом с миссис Тау-Вауз.

– Да, сэр, я кое-что смыслю в хирургии, – ответил джентльмен.

– Кое-что! Хо-хо-хо! – рассмеялся врач. – Уж верно, и впрямь, я думаю, «кое-что»!

---

<sup>47</sup> Уипвел – смысловая фамилия: погоняла.

<sup>48</sup> Бесплатно (*лат.*).

Все присутствующие насторожились, в надежде услышать, как врач, который был, что называется, «сухая язва», посрамит джентльмена.

Поэтому он начал надменным тоном:

– Вы, сэр, я полагаю, много путешествовали?

– Да нет, сэр, не доводилось, – сказал джентльмен.

– Хо! Тогда, быть может, вы пользовали раненых в лазаретах?

– Нет, сэр.

– Хм! ни то и ни другое? Откуда же, сэр, позволю я себе спросить, вы почерпнули ваши знания в хирургии?

– Сэр, – ответил джентльмен, – я на большие знания не притязую; а то, что знаю, я почерпнул из книг.

– Из книг! – вскричал доктор. – О, так вы, я полагаю, читали Галена<sup>49</sup> и Гиппократата!

– Нет, сэр, – сказал джентльмен.

– Как! Вы смыслите в хирургии, – сказал доктор, – и не читали Галена и Гиппократата?

– Сэр, – промолвил тот, – я думаю, много есть хирургов, которые никогда не читали этих авторов.

– И я так думаю, – сказал доктор, – не читали, как это ни позорно! Но сам я благодаря своему образованию знаю их наизусть, и мне редко случается выйти из дому, не держа их при себе в кармане.

– Это книги изрядного объема, – сказал джентльмен.

– Ну, – сказал доктор, – какого они объема, я знаю, наверно, не хуже, чем вы. (Тут он опять подмигнул, и вся компания разразилась смехом.)

Доктор, не довольствуясь достигнутым успехом, спросил у джентльмена, не смыслит ли он и в общей медицине столько же, сколько в хирургии.

– Пожалуй, побольше, – ответил джентльмен.

– Я так и думал, – воскликнул наш ученый лекарь, подмигивая, – и о себе могу сказать то же!

– Хотел бы я быть хоть вполовину таким образованным! – сказал Тау-Вауз. – Я бы тогда снял с себя этот фартук.

– Честное слово, хозяин! – вскричал лекарь. – Я думаю, на двенадцать миль вокруг не много найдется людей, кто бы лучше меня лечил лихорадку, хоть мне и не пристало, может быть, самому это говорить. *Veniente accurrere morbo*:<sup>50</sup> вот моя метода. Полагаю, голубчик, вы разбираетесь в латыни?

– Немного разбираюсь, – сказал джентльмен.

– Ну и в греческом, понятно, тоже? *Ton d'apomibominos poluflosboio thalasses*<sup>51</sup>. Но я почти позабыл эти вещи, а когда-то мог читать Гомера наизусть.

– Эге! Джентльмен-то угодил впросак, – сказала миссис Тау-Вауз; и тут все расхохотались.

Джентльмен, несклонный шутить над ближними, весьма охотно позволил доктору торжествовать свою победу (чем тот и воспользовался с немалым удовольствием) и, вполне разобравшись, с кем имеет дело, сказал ему, что не сомневается в его большой учености и высоком искусстве и что врач очень обяжет его, если выскажет ему свое компетентное мнение о состоянии бедного пациента, который лежит наверху.

---

<sup>49</sup> ...Галена. – В классическом труде «О частях человеческого тела» римский врач Гален (ок. 130 – ок. 200), обобщив представления античной медицины, дал первое анатомо-физиологическое описание целостного организма.

<sup>50</sup> Торопитесь лечить болезнь вовремя (*лат.*). Врач несколько перевирает: надо «*venienti occurrere*...».

<sup>51</sup> В правильной транскрипции: *Ton d'apameibomenos* – ему отвечая, *po-lyfloisboio thalasses* – многошумного моря (*греч.*). Нелепое соединение двух частей разных стихов из «Илиады».

– Сэр, – сказал доктор, – в каком он состоянии? В предсмертном, да! Вследствие контузии черепной коробки у него перфорирована внутренняя плева окципута и дивеллицирован малый корешок того крошечного невидимого нерва, который сцепляет ее с перикраниумом; к этому присоединилась лихорадка, сперва симптоматическая, а затем пневматическая; и под конец у больного появилось делириальное состояние, или, проще говоря, он впал в бред.

Врач продолжал разглагольствовать все тем же ученым слогом, когда его прервал сильный шум. Несколько молодцов, живших по соседству, поймали одного из грабителей и приволокли его в гостиницу. Бетти побежала с этой новостью наверх, к Джозефу, который попросил поискать, не окажется ли при воре золотой монетки с продетой в нее лентой; он под присягой опознает свою монетку среди всех сокровищ всех богачей на свете.

Сколько ни настаивал пойманный на своей невинности, толпа усердно принялась его обыскивать, и вот среди прочих вещей вытащили указанную золотую монету. Бетти, как только ее увидела, властно наложила на нее руку и отправилась с нею к Джозефу, который принял монету с бурным восторгом и, прижав ее к груди, объявил, что может теперь умереть спокойно.

Несколько минут спустя вошло еще несколько молодцов с узлом, который они нашли в канаве и в котором оказалась снятая с Джозефа одежда и вещи, отобранные у него.

Едва увидев ливрею, джентльмен объявил, что он ее узнаёт; и если она снята с бедного малого, который лежит наверху, то он хотел бы навеститься к нему, потому что он близко знаком с семьей, которой принадлежит эта ливрея.

Бетти тотчас повела его наверх; но каково же, читатель, было обоюдное их изумление, когда джентльмен увидел, что в кровати лежит Джозеф, и когда Джозеф узнал в пришедшем своего доброго друга мистера Абраама Адамса!

Было бы излишним приводить здесь их разговор, касавшийся главным образом событий, уже известных читателю, ибо священник, как только успокоил Джозефа сообщением, что его Фанни в добром здоровье, со своей стороны стал во всех подробностях расспрашивать про обстоятельства, которыми вызван был этот несчастный случай.

Итак, вернемся лучше на кухню, где сошлось теперь весьма разнообразное общество из всех комнат дома, равно как и из соседних домов: столь великое удовольствие находят люди в лицезрении вора.

Мистер Тау-Вауз уже радостно потирал руки, видя такое большое сборище и предвкушая, как посетители рассядутся вскоре по отдельным комнатам, чтобы поговорить о разбойниках и выпить за здоровье всех честных людей. Но миссис Тау-Вауз, обладавшая несчастной способностью видеть вещи в несколько превратном свете, принялась бранить тех, кто приволок парня в ее дом; конечно, объясняла она супругу, человеку как раз впору ждать богатства, если он держит увеселительное заведение для нищих и воров!

Толпа покончила с обыском и не обнаружила на пойманном ничего, что можно было бы счесть за вещественное доказательство, ибо что до одежды, то толпа, пожалуй, и удовлетворилась бы такой уликой, но врач заметил, что вещи не изобличают преступника, так как найдены были не при нем; а Барнабас, признав сей довод, добавил, что они – *bona waviata*<sup>52</sup> и принадлежат теперь лорду владельцу земли.

– Как, – сказал врач, – вы утверждаете, что эти вещи – собственность лорда владельца?

– Да, утверждаю! – вскричал Барнабас.

– А я отрицаю, – сказал врач. – Какое касательство имеет лорд владелец к такому случаю? Пусть кто-нибудь попробует меня разубедить, что найденная вещь поступает в собственность нашедшего!

---

<sup>52</sup> Бесхозное имущество (английскому слову *waifs* здесь придана латинизированная форма).

– Я слышал, – заметил один старик в углу, – судья Уайзуон<sup>53</sup> говорил, что, хотя у каждого свои права, все, что найдено, принадлежит английскому королю.

– Это, пожалуй, так, – согласился Барнабас, – но лишь в известном смысле: закон различает вещь найденную и вещь украденную, ибо вещь может быть украдена, но так и не найдена, и может быть найдена вещь, которая никогда не была украдена. Вещи, которые и найдены и были украдены, представляют собой *waviata*, и они принадлежат лорду владельцу.

– Значит, лорд владелец – приемщик краденого имущества! – объявил доктор; все дружно расхохотались, и громче всех он сам.

Вор, упорно отстаивая свою невиновность, уже почти перетянул на свою сторону (так как не было против него улик) врача, Барнабаса, Тау-Вауза и кое-кого еще, когда Бетти напомнила им, что они упустили из виду маленькую золотую монетку, которую она снесла наверх пострадавшему; а тот готов показать под присягой, что отличил бы ее из миллиона и даже из десяти тысяч. Это сразу решило судьбу пойманного, так как все теперь признали его виновным. Было поэтому решено посадить его на ночь под замок, а утром спозаранку отвести к судье.

---

<sup>53</sup> *Уайзуон* – смысловая фамилия: мудрец. Филдинг откровенно иронизирует над правоведческими притязаниями Барнабаса и врача, называя здесь популярные юридические справочники Джона Мэллори (автор «Карманного спутника адвоката»), Джэйлса Джекоба и Томаса Вуда.

## **Глава XV, показывающая, как миссис Тау-Вауз смилостивилась и как Барнабас и врач ревностно преследовали вора; с добавлением рассуждения о причинах их усердия, равно как и рвения многих других лиц, в нашей истории не упомянутых**

Бетти сказала своей хозяйке, что, по ее суждению, их раненый постоялец – более важная особа, чем тут считали до сих пор, так как, помимо необычайной белизны его кожи и нежности рук, она подметила, что они с приезжим джентльменом держатся на самой дружеской ноге, и добавила, что, несомненно, они близкие знакомые, если не родственники.

Это несколько смягчило суровое выражение лица миссис Тау-Вауз. Боже ее упаси, сказала она, не исполнить своего христианского долга, когда под кровом ее дома находится молодой джентльмен; бродяг она не жалует, это верно, но она не хуже всякого другого умеет посочувствовать христианину в несчастье.

– Если путешественник – джентльмен, – сказал Тау-Вауз, – пусть он даже не при деньгах, нам, по всей вероятности, будет уплачено после; так что можешь, ежели тебе угодно, отпускать ему в долг.

Миссис Тау-Вауз в ответ попросила мужа «придержать свой глупый язык и не учить ее».

– Я поистине от всего сердца жалею бедного джентльмена, – сказала она, – я надеюсь, что мерзавец, который так варварски с ним обошелся, будет повешен. Бетти, сходи узнай, не надо ли ему чего. Боже упаси, чтоб он у меня в доме терпел в чем-нибудь нужду.

Барнабас и врач поднялись к Джозефу удостовериться насчет золотой монетки. Джозефа с трудом упростили показать ее; но никакие уговоры не склонили его выпустить монетку из рук. Он, однако же, заверил, что это та самая золотая монета, которая была у него отнята; а Бетти бралась показать под присягой, что монета найдена была при воре.

Оставалось теперь только одно затруднение: как предъявить золотую монетку судье? Вести к нему самого Джозефа представлялось невозможным, а получить монету никто уже не надеялся: Джозеф привязал ее лентой к запястью и торжественно поклялся, что ничто, кроме непреоборимой силы, не разлучит его с нею; и мистер Адамс, сжав руку в кулак чуть поменьше бабки быка, объявил, что поддержит несчастного в его решении.

По этому случаю возник спор об уликах, который не так уже необходимо здесь передавать, а затем врач сменил Джозефу повязку на голове, все еще настаивая, что его пациент находится в грозной опасности; но в заключение добавил, многозначительно сдвинув брови, что появляется некоторая надежда и что он пришлет больному порцию целебной наркотической микстуры и навестит его утром. После чего они с Барнабасом удалились, оставив мистера Джозефа и мистера Адамса наедине.

Адамс сообщил Джозефу, по какому случаю предпринял он свою поездку в Лондон: он решил издать три тома своих проповедей; к этому его поощрило, сказал он, объявление, сделанное недавно обществом книгопродавцев, которые предлагают купить любую рукопись по цене, устанавливаемой обеими сторонами; но, хотя он и предвкушал, что получит по этому случаю большие деньги, в которых его семья крайне нуждалась, он все же заявил, что не оставит Джозефа в таком положении; и, наконец, сказал, что в кармане у него девять шиллингов и три с половиной пенса и этой суммой Джозеф может располагать по своему усмотрению.

Доброта пастора Адамса вызвала слезы на глазах Джозефа; он сказал, что теперь у него появилась и вторая причина жаждать жизни: он хочет жить, чтобы выказать свою благодар-

ность такому другу. Адамс тогда приободрил его: не надо, сказал он, падать духом; сразу видно, что врач просто невежда, да к тому же еще хочет стяжать себе славу исцелением тяжелого больного, хотя совершенно очевидно, что раны на голове у Джозефа отнюдь не опасны; он, пастор, убежден, что никакой лихорадки у Джозефа нет и через денек-другой ему можно будет снова пуститься в путь.

Эти слова влили в Джозефа жизнь; он сказал, что у него, правда, все тело болит от ушибов, но он не думает, чтобы какая-либо кость была у него сломана или что-нибудь внутри повреждено; вот только странно как-то посасывает под ложечкой, но он не знает: может быть, это происходит оттого, что он больше суток ничего не ел? На вопрос, есть ли у него желание подкрепиться, он ответил, что есть. Тогда пастор Адамс попросил его назвать, чего бы ему больше всего хотелось: может быть, яичка всмятку или куриного бульона? Джозеф ответил, что поел бы охотно и того и другого, но что больше всего его, пожалуй, тянет на кусок тушеной говядины с капустой.

Адамсу было приятно такое бесспорное подтверждение его мысли, что никакой лихорадки у больного нет, но все же он ему посоветовал ограничиться на этот вечер более легкой пищей. Итак, Джозеф поел не то кролика, не то дичи – мне так и не удалось с полной достоверностью выяснить, чего именно; а затем по распоряжению миссис Тау-Вауз его перенесли на более удобную кровать и обрядили в одну из рубашек ее мужа.

Рано поутру Барнабас и врач пришли в гостиницу – посмотреть, как вора поведут к судье. Они всю ночь провели в прениях о том, какие можно принять меры, чтобы предъявить в качестве вещественной улики против него золотую монету: потому что они оба отнеслись к делу с чрезвычайным рвением, хотя ни тот, ни другой не был ни в малой мере заинтересован в преследовании преступника; ни одному из них он не нанес никакой личной обиды, и никогда за ними не замечалось столь сильной любви к ближним, чтобы она побудила одного из них безвозмездно прочитать проповедь, а другого – бесплатно отпустить больному лекарства хоть на один прием.

Чтобы помочь нашему читателю по возможности уяснить себе причину такого усердия, мы должны сообщить ему, что в том приходе, по несчастью, не имелось юриста; а посему между врачомателем духа и врачомателем тела шло постоянное соревнование в той области науки, в которой оба они, не будучи профессионалами, в равной мере притязали на большую осведомленность. Эти их споры велись с великим обоюдным презрением и чуть ли не делили на два лагеря весь приход: мистер Тау-Вауз и половина соседей склонялись на сторону врача, а миссис Тау-Вауз со второй половиной – на сторону пастора. Врач черпал свои познания из двух неопределимых источников, именуемых один «Карманным спутником адвоката», другой «Сводом законов» мистера Джекоба; Барнабас же всецело полагался на «Законоположения» Вуда. В данном случае, как это нередко бывало, два наших ученых мужа расходились в вопросе о достаточности улики: доктор держался того мнения, что присяга служанки и без предъявления золотой монеты поведет к осуждению арестованного; пастор же – *é contra*<sup>54</sup>, *totis viribus*.<sup>55</sup> Стремление покичиться своей ученостью пред лицом судьи и всего прихода – вот единственная обнаруженная нами причина, почему оба они так заботились сейчас об общественной справедливости.

О Тщеславие! как мало признана сила твоя или как слабо распознается твое воздействие! Как своенравно обманываешь ты человечество под различными масками! Иногда ты прикидываешься состраданием, иногда – великодушием; более того, ты даже имеешь дерзость рядиться в те великолепные уборы, какие составляют принадлежность только добродетели героя. Ты, мерзостное, безобразное чудовище, поносимое священниками, презираемое философами и

<sup>54</sup> Против (*ит.*).

<sup>55</sup> Всеми силами (*лат.*).

высмеянное поэтами! Найдется ли столь завзятый мерзавец, который открыто признался бы в знакомстве с тобой? А кто между тем не услаждается тобою втайне? Да, у большинства людей вся жизнь наполнена тобою. Величайшие подлости ежедневно совершаются в угоду тебе; ты снисходишь порою до самого мелкого вора, но и на самого великого героя не боишься поднять свой взор. Твои ласки часто бывают единственной целью и единственной наградой разбоя на большой дороге или разграбления целой провинции. Чтобы насытить тебя, о бесстыдная тварь, мы пытаемся отнять у другого то, что нам и не нужно, или не выпустить из рук того, что нужно другому. Все наши страсти – твои рабы. Самая Скупость зачастую твоя прислужница, и даже Похоть – твоя сводня! Хвастливый забияка-Страх, как трус, пред тобой обращается в бегство, а Радость и Горе прячут головы в твоём присутствии.

Я знаю, ты подумаешь, что, хуля, я тебя улещаю и что только любовь к тебе вдохновила меня написать этот саркастический панегирик, – но ты обманулась, я не ставлю тебя ни в грош, и ничуть мне не будет обидно, если ты убедишь читателя расценить это отступление как чистейший вздор. Так узнай же, к стыду своему, что я отвел тебе здесь место не для чего иного, как с целью удлинить короткую главу; а засим я возвращаюсь к моему повествованию.

## Глава XVI

### **Побег вора. Разочарование мистера Адамса. Прибытие двух весьма необычайных личностей и знакомство пастора Адамса с пастором Барнабасом**

Когда Барнабас и врач вернулись, как мы сказали, в гостиницу с целью сопроводить вора к судье, их сильно огорчило известие о небольшом происшествии: это было не что иное, как исчезновение вора, который скромно удалился среди ночи, уклонившись от пышных церемоний и не пожелав, в отличие от кое-кого из больших людей, покупать известность ценою того, что на него станут указывать пальцем.

Накануне вечером, когда общество разошлось, вора поместили в пустой комнате и приставили к нему для охраны констебля и одного молодого паренька из числа тех, кто его поймал. К началу второй стражи как узник, так и его караульные стали жаловаться на жажду. В конце концов они согласились на том, что констебль останется на посту, а его сотоварищ наведается в погреб; в таком решении пареньку не мнилось никакой опасности, так как констебль был хорошо вооружен и мог к тому же легко призвать его на помощь, вздумай узник сделать хоть малейшую попытку вернуть себе свободу.

Едва паренек вышел из комнаты, как констеблю пришло в голову, что узник может наскокить на него врасплох и, таким образом, не дав ему пустить в ход оружие – особенно же длинный жезл, на который он больше всего полагался, – уравнять шансы на победу в борьбе. Поэтому, чтобы предупредить подобную неприятность, он благоразумно выскользнул из комнаты и запер дверь, а сам стал на караул снаружи, с жезлом в руке, готовый сразить злосчастного узника, если тот в недобрый час задумает вырваться на волю.

Но человеческая жизнь, как было открыто кем-то из великих людей (я отнюдь не намерен приписать себе честь подобного открытия), весьма напоминает шахматную игру, ибо как там игрок, уделяя чрезмерное внимание укреплению одного своего фланга, иной раз оставляет неприкрытую лазейку на другом, – так оно приключается зачастую и в жизни; и так приключилось и в этом случае, ибо осторожный констебль, столь предусмотрительно завладев позицией у двери, забыл, на беду, про окно.

Вор, игравший против него, едва заметив эту лазейку, тотчас стал подбираться к ней и, убедившись, что путь свободен, прихватил шапку паренька, вышел без церемонии на улицу и быстро зашагал своей дорогой.

Паренек, вернувшись с двойной кружкой крепкого пива, несколько удивился, найдя констебля по сю сторону двери; но еще более удивился он, когда дверь открыли и он увидел, что узник сбежал, – и понял каким путем! Он швырнул наземь кружку и, ничего не говоря констеблю, только выругавшись от души, проворно выскочил в окно и снова пустился в погоню за своею дичью: ему очень не хотелось терять награду, которую он уже считал обеспеченной.

Констебль в этом случае не остался вне подозрений: поговаривали, что, поскольку он не принимал участия в поимке вора, он не мог рассчитывать ни на какую часть награды, если бы тот был осужден; что у вора было в кармане несколько гиней; что едва ли констебль мог допустить такой недосмотр; что предлог, под которым он вышел из комнаты, был нелеп; что он всю жизнь держался принципа, согласно коему умный человек никогда не отказывается от денег, на каких бы условиях их ни предлагали; что на всех выборах он всегда продавал свой голос обеим сторонам, и так далее.

Но, невзирая на эти и многие другие утверждения, сам я в достаточной мере убежден в его невиновности, поскольку меня заверили в ней лица, получившие свои сведения из его

собственных уст, – что, по мнению некоторых наших современников, есть лучшее и, в сущности, единственное доказательство.

Все семейство было теперь на ногах и вместе со многими посторонними собралось на кухне. Мистер Тау-Вауз был сильно смущен заявлением врача, что, по закону, хозяин гостиницы в ответе за побег вора, – так как побег совершился из его дома. Однако его несколько утешило мнение Барнабаса, что, поскольку побег совершился ночью, обвинение отпадает.

Миссис Тау-Вауз разразилась следующей речью:

– Честное слово, не было еще на свете такого дурака, как мой муж! Разве кто-нибудь другой оставил бы человека под охраной такого пьяного разини, такого болвана, как Том Сакбрайб<sup>56</sup> (так именовался констебль)? и если б можно было засудить его без вреда для его жены и детей, я была бы рада – пусть засудят! (Тут донесся звонок из комнаты Джозефа.) Эй, Бетти, Джон, слуги, где вас черти носят? Оглохли вы или совести у вас нет, что вы не можете получше поухаживать за больным? Узнайте, чего надо джентльмену. И что бы вам самому сходить к нему, мистер Тау-Вауз? Но вам, хоть помри человек, чувств у вас что у чурбана! Проживи человек в вашем доме две недели, не платя ни пенни, вы бы ему никогда и не напомнили о том! Спросили бы, чего он хочет к завтраку – чаю или кофе.

– Хорошо, моя дорогая, – сказал Тау-Вауз.

Она отнеслась к доктору и к мистеру Барнабасу с вопросом, какой утренний напиток они предпочитают, и те ответили, что посидят у очага за кружкой сидра; оставим же их весело его распивать и вернемся к Джозефу.

Он проснулся чуть не на рассвете; но хотя его раны не грозили опасностью, избитое тело так ныло, что невозможно было и думать о том, чтобы теперь же пуститься в дорогу; поэтому мистер Адамс, чей капитал заметно убавился по оплате ужина и завтрака и не выдержал бы расходов еще одного дня, начал обдумывать, как бы его пополнить. Наконец он вскричал, что «счастливым образом попал на верный способ, и хотя придется при этом повернуть вместе с Джозефом домой – но это не беда». Он вызвал Тау-Вауза, отвел его в другую комнату и сказал, что хотел бы занять у него три гинеи, под которые он даст ему щедрый залог. Тау-Вауз, ожидавший часов, или кольца, или чего-нибудь еще более ценного, отвечал, что, пожалуй, сможет его выручить. Тогда Адамс, указывая на свою седельную суму, с высокой торжественностью в голосе и взоре объявил, что здесь, в этой суме, лежат ни более и ни менее, как девять рукописных томов проповедей и стоят они сто фунтов так же верно, как шиллинг стоит двенадцать пенсов; и что один из томов он вверит Тау-Ваузу, не сомневаясь, конечно, что тот честно вернет залог, когда получит свои деньги: иначе он, пастор, окажется в слишком большом убытке, ибо каждый том должен ему принести свыше десяти фунтов, как его осведомило одно духовное лицо в их округе. «Потому что, – добавил он, – сам я никогда не имел дела с печатаньем и не беру на себя определить точную цену таким предметам».

Тау-Вауз, несколько смущенный этим залогом, сказал (не отступая далеко от истины), что он не судья в ценах на такой товар, а с деньгами у него сейчас, право, у самого туговато. Но все же, возразил Адамс, он ведь может дать займы три гинеи под вещь, которая, несомненно, стоит никак не меньше десяти? Хозяин гостиницы возразил, что у него, пожалуй, и не найдется таких денег в доме и к тому же ему сейчас самому нужны наличные. Он охотно верит, что книгам цены гораздо даже выше, и от всей души сожалеет, что ему это не подходит. Затем он крикнул: «Иду, сэр!» – хотя никто его не звал, – и сломя голову кинулся вниз по лестнице.

Бедный Адамс был крайне угнетен крушением своей надежды и не знал, какой бы еще попробовать способ. Он незамедлительно прибег к своей трубке, верному другу и утешителю во всех огорчениях, и, склонившись над перилами, предался раздумью, черная бодрость и вдохновение в клубах табачного дыма.

---

<sup>56</sup> *Сакбрайб* – смысловая фамилия: взяточник.

На пасторе был ночной колпак, натянутый поверх парика, и короткое полукафтанье, не покрывавшее долгополой рясы; такая одежда в сочетании с несколько смешным складом лица придавала его фигуре вид, способный привлечь взоры тех, кто вообще-то не слишком склонен к наблюдению.

Пока он, стоя в такой позе, курил свою трубку, во двор гостиницы въехала карета цугом с многочисленной свитой. Из кареты вышел молодой человек со сворой гончих, а вслед за ним соскочил с козел другой молодой человек и пожал первому руку; тотчас же их обоих, с собаками вместе, мистер Тау-Вауз повел в комнаты; и пока они шли, между ними происходил нижеследующий быстрый и шуточный диалог:

– А вы у нас отменный кучер, Джек! – говорил тот, что вышел из кареты. – Едва не опрокинули нас у самых ворот!

– Чума на вас! – говорит кучер. – Если бы я свернул вам голову, это только избавило бы от такого труда кого-нибудь другого, но мне жалко было бы гончих.

– Ах, с... сын! – отозвался первый. – Да если бы никто на свете не стрелял лучше вас, гончие были бы ни к чему.

– Провались я на этом месте! – говорит кучер. – Давайте буду вам стрелять на пари: пять гиней с выстрела.

– К черту! К дьяволу! – говорит первый. – Плачу пять гиней, если вы мне попадете в мягкую часть!

– По рукам! – говорит кучер. – Я вас отделаю, как вас не отделявала и Дженни Браунсер.

57

– Отделайте вашу бабушку! – говорит первый. – Наш Тау-Вауз постоит перед вами мишенью за шиллинг с выстрела.

– Ну нет, я лучше знаю их честь, – вскричал Тау-Вауз, – я в жизни не видывал более меткого стрелка по куропаткам! Промаяхнуться, конечно, каждому случается; но если бы я стрелял хоть вполовину так хорошо, как их честь, я бы и думать не стал о лучшем доходе и жил бы тем, что мне давало бы ружье.

– Чума на вас! – сказал кучер. – Ваша голова того не стоит, сколько вы перестреляли дичи! Эх, вот у меня сука, Тау-Вауз! Черт меня подери, если она хоть раз в жизни проморгала птицу.<sup>58</sup>

– А у меня щенок! – кричит второй джентльмен. – Ему еще нет и года, а на охоте он забьет вашу суку – хоть спорь на сто гиней!

– По рукам! – говорит кучер. – Только вы ведь скорей повеситесь, чем и впрямь пойдете на пари. Но все же, – вскричал он, – если вы намерены биться об заклад, я ставлю сотню на своего чернопегого против вашей белой суки! Идет?

– По рукам! – говорит другой. – И я ставлю еще сотню на своего Нахала против вашего Разгильдяя.

– Не пройдет! – кричит соскочивший с козел. – А вот поставить на Мисс Дженни против вашего Нахала я рискнул бы, или против Ганнибала.

– К дьяволу! – кричит вышедший из кареты. – Так я и принял любое пари, ждите! Предлагаю тысячу на Ганнибала против Разгильдяя, и если вы рискнете, я первый скажу «по рукам»!

Они уже дошли, и читатель будет очень рад оставить их и вернуться на кухню, где Барнабас, врач и некий акцизный чиновник покуривали свои трубки над сидром и куда явились теперь и слуги, сопровождавшие двух благородных джентльменов, которые только что у нас на глазах первыми оставили карету.

---

<sup>57</sup> Браунсер – смысловая фамилия: толстуха.

<sup>58</sup> «Проморгать» птицу (to blink) – термин, употребляемый охотниками для обозначения того, что собака прошла мимо птицы, не сделав стойку. (Примеч. автора.)

– Том, – кричит один из лакеев, – вон там пастор Адамс курит на галерее свою трубку!

– Да, – говорит Том, – я ему поклонился, и пастор поговорил со мной.

– Как, значит, джентльмен – служитель церкви? – говорит Барнабас (когда мистер Адамс впервые приехал, ряса под его полукафтаньем была у него подобрана).

– Да, сэр, – ответил лакей, – и немного найдется таких, как он.

– Вот как! – сказал Барнабас. – Знал бы я раньше, я бы давно стал искать его общества; я всегда склонен выказать должное почтение к сану. Как вы скажете, доктор, что, если нам перейти в комнату и пригласить его выпить с нами стакан пунша?

Врач тотчас согласился; и когда пастор Адамс принимал приглашение, много любезных слов было высказано обоими служителями церкви, которые в один голос изъявили свое высокое уважение к сану. Не успели они пробыть вместе и несколько минут, как между ними завязалась беседа о малой десятине, продолжавшаяся добрый час; и за этот час ни врачу, ни акцизному не представилось случая вернуть хоть слово.

Затем предложено было перейти на общий разговор, и акцизный заговорил для начала о внешней политике; но некстати оброненное одним из собеседников слово повело к обсуждению того, сколь жестокою нужду терпят младшие служители церкви, и длительное это обсуждение завершилось тем, что были упомянуты девять томов проповедей.<sup>59</sup>

Барнабас привел бедного Адамса в полное уныние: мы живем, сказал он, в такой испорченный век, что никто сейчас проповедей не читает.

– Подумайте только, мистер Адамс! Я и сам (так он сказал) хотел однажды издать том своих проповедей, и у меня был на них одобрительный отзыв двух или трех епископов; но как вы полагаете, что предложил мне за них книгопродавец?

– Да, уж верно, двенадцать гиней! – воскликнул Адамс.

– Даже двенадцати пенсов не предложил, вот как! – сказал Барнабас. – Да, этот скареда отказался дать мне в обмен хотя бы изданный им справочник к Библии. В конце концов я предложил ему напечатать их даром, лишь бы книга вышла с посвящением тому самому джентльмену, который только что пожаловал сюда в собственной карете; и представьте себе, книгопродавец имел наглость отклонить мое предложение, и я, таким образом, потерял хороший приход, который впоследствии был отдан в обмен за легавого щенка человеку, который... но я не хочу ничего говорить против лица, облеченного в сан. Так что вы понимаете, мистер Адамс, на что вы можете рассчитывать; потому что если бы проповеди имели хождение, то я полагаю... не хочу хвалить себя, но, чтобы долго не распространяться, скажу: три епископа нашли, что это лучшие проповеди, какие только были написаны; но поистине проповедей напечатано весьма изрядное количество, и они еще не все раскуплены.

– Простите, сэр, – сказал Адамс, – как вы полагаете, сколько их напечатано?

– Сэр, – ответил Барнабас, – один книгопродавец говорил мне, что, по его счету, пять тысяч томов, не меньше.

– Пять тысяч! – вмешался врач. – О чем же они могут быть написаны? Помнится, когда я был мальчишкой, мне доводилось читать некоего Тиллотсона<sup>60</sup>; и право, если бы человек осуществлял хоть половину того, что проповедуется хотя бы в одной из этих проповедей, он попал бы прямехонько в рай.

– Доктор! – вскричал Барнабас. – Вы богохульствуете, и я должен поставить это вам в укор. Как бы часто ни внушался человеку его долг, здесь повторение не может быть излишним. А что касается Тиллотсона, то он, конечно, хороший автор и превосходно излагает вещи, но

---

<sup>59</sup> Пример забывчивости Филдинга: в предыдущей главе речь шла о трех томах.

<sup>60</sup> Проповеди церковного писателя Джона Тиллотсона (1630 – 1694), ставшего архиепископом Кентерберийским, были широко популярны в XVIII в. Их «благоразумная мораль» и веротерпимость (Тиллотсон принадлежал к так называемым латининариям) импонировали Филдингу, он неоднократно упоминает имя этого богослова на страницах своих произведений.

– к чему сравнения? И другой человек может написать не хуже... Я думаю, иные из моих проповедей... – и тут он поднес свечу к своей трубке.

– Я думаю, что и среди моих найдутся такие, – воскликнул Адамс, – которые любой епископ признал бы не совсем недостойными издания; и мне говорили, что я могу выручить за них весьма изрядную (даже огромную!) сумму.

– Едва ли так, – ответил Барнабас, – однако если вы хотите получить за них малую толику денег, то, может быть, вам удастся их продать, предлагая их как «рукопись проповедей одного священнослужителя, недавно скончавшегося, доселе не опубликованных, и с полным ручательством за подлинность каждой». А знаете, мне пришла мысль: я буду вам очень обязан, если у вас найдется среди них надгробное слово и вы мне разрешите позаимствовать его у вас; мне сегодня предстоит говорить проповедь на похоронах, а я не набросал еще ни строчки, хотя мне обещана двойная плата.

Адамс отвечал, что такая речь у него только одна, но он боится, что она не подойдет Барнабасу, так как посвящена памяти некоего судьи, который проявлял необычайное усердие в охране нравственности своих ближних – настолько, что в приходе, где он жил, не осталось ни одного кабака и ни одной распутной женщины.

– Да, – сказал Барнабас, – это мне не совсем подойдет: покойный, чьи добродетели я должен буду славить в моей речи, был чрезмерно привержен к возлияниям и открыто держал любовницу. Пожалуй, мне лучше взять обычную проповедь и, положившись на память, вернуть что-нибудь приятное о нем.

– Положитесь лучше на изобретательность, – сказал доктор, – память, чего доброго, только подведет вас: ни один человек на земле не припомнит о покойном ничего хорошего.

В беседе о такого рода высоких материях они осушили чашу пунша, заплатили по счету и разошлись: Адамс и врач пошли наверх к Джозефу; пастор Барнабас отправился славословить упомянутого выше покойника; акцизный же спустился в погреб – перемеривать бочки.

Джозеф был теперь готов приступить к бараньему филе и поджидал мистера Адамса, когда тот вошел к нему с доктором. Доктор, пощупав у больного пульс и осмотрев его раны, объявил, что находит значительное улучшение, которое он приписывает своей наркотической микстуре, – лекарству, коего целебные свойства были, по его словам, неоценимы. И воистину они были весьма велики, если Джозеф был обязан им в той мере, как это воображал врач, – ибо лишь те испарения, какие пропускала пробка, могли содействовать выздоровлению больного: микстура, как ее принесли, так и стояла, нетронутая, на окне.

Весь тот день и три следующих Джозеф провел со своим другом Адамсом; и за это время ничего примечательного не произошло, кроме того, что его силы быстро восстанавливались. Так как он обладал превосходной, здоровой кровью, раны его уже почти совсем зажили, а ушибы причиняли теперь так мало беспокойства, что он убеждал Адамса отпустить его в путь; он говорил, что никогда не сможет достаточно отблагодарить пастора за все его милости, и просил, чтобы тот не задерживался больше и продолжал свое путешествие в Лондон.

Невзирая на явное, как он понимал, невежество Тау-Вауза и на зависть (так он рассудил) мистера Барнабаса, Адамс возлагал на свои проповеди большие надежды; поэтому, видя Джозефа почти здоровым, он сказал ему, что не станет возражать, если тот на другой день с утра двинется дальше в почтовой карете, так как он полагает, что после уплаты по счету у него останется еще достаточно, чтобы обеспечить ему проезд на один день, а там Джозефу уже можно будет пробираться дальше пешком или подъехать на какой-нибудь попутной телеге, – тем более что в том городе, куда направляется почтовая карета, как раз открывается ярмарка и многие из его прихода потянутся туда. Сам же он, пожалуй, и впрямь поедет своею дорогой в столицу.

Они прогуливались по двору гостиницы, когда во двор въехал верхом жирный, гладкий, коротенький человечек и, спешившись, подошел прямо к Барнабасу, который сидел на скамье

и курил свою трубку. Пастор и незнакомец очень любезно пожали друг другу руки и прошли в помещение.

Надвигался вечер, и Джозеф удалился в свою комнату, а добрый Адамс пошел его проводить и воспользовался этим случаем, чтобы прочитать юноше наставление – о милостях, оказанных ему господом за последнее время, и о том, что ему следует не только глубоко чувствовать это, но и выразить благодарность за них. Поэтому они оба преклонили колена и довольно много времени провели в благодарственной молитве.

Только они кончили, как вошла Бетти и передала мистеру Адамсу, что мистер Барнабас хочет поговорить с ним внизу о каком-то важном деле. Джозеф попросил, если разговор затянется надолго, дать ему знать о том, чтоб он мог вовремя лечь в постель; мистер Адамс обещал, и на всякий случай они пожелали друг другу спокойной ночи.

## Глава XVII

### **Приятный разговор между двумя пасторами и книгопродавцем, прерванный злосчастным происшествием, приключившимся в гостинице и вызвавшим не очень ласковый диалог между миссис Тау-Вауз и ее служанкой**

Как только Адамс вошел в комнату, мистер Барнабас представил его незнакомцу, который был, как он сказал, книгопродавцем и мог не хуже всякого другого войти с ним в сношения насчет его рукописей. Адамс, поклонившись книгопродавцу, ответил Барнабасу, что очень признателен ему и что это для него самое удобное: у него нет никаких других дел в столице, и он всем сердцем желал бы поехать обратно домой вместе с молодым человеком, который только что оправился после постигшего его несчастья. Потом он прищелкнул пальцами (как было у него в обычае) и в радостном волнении два-три раза пробежался по комнате. Далее, чтобы подогреть в книгопродавце желание покончить с делом как можно быстрее и дать ему за рукопись высшую цену, он заверил своих новых знакомых, что это для него чрезвычайно счастливая встреча: сейчас у него, как нарочно, крайняя нужда в деньгах, так как свою наличность он всю почти потратил, а в этой же гостинице у него оказался друг, который только что оправился от ран, нанесенных ему грабителями, и находится в самом бедственном положении.

– Так что, – сказал он, – для обеспечения моих и его нужд я не найду более счастливого средства, как безотлагательно заключить с вами сделку!

Когда он наконец уселся, книгопродавец начал такими словами:

– Сэр, я никоим образом не отказываюсь поинтересоваться тем, что мне рекомендует мой друг, но проповеди – это гиблый товар. Рынок так ими забит, что я не хочу иметь с ними дела, – если только они не выпускаются в свет под именем Уайтфилда, или Уэсли <sup>61</sup>, или другого столь же великого человека – епископа, например или кого-нибудь в этом роде; или пусть это будет проповедь, сказанная на тридцатое января; <sup>62</sup> или чтоб мы могли проставить на титульном листе: «Печатается по настоятельной просьбе паствы» или, скажем, прихожан; но, право, от рядовых проповедей – извините, прошу меня уволить! Тем более сейчас, когда у меня предостаточно товара на руках. Однако же, сэр, так как мне о них замолвил слово мистер Барнабас, я готов, если вам будет угодно, захватить с собою вашу рукопись в город и прислать вам мой отзыв о ней в самом недалеком времени.

– О, – сказал Адамс, – если хотите, я вам прочитаю две-три речи для образца.

Но Барнабас, которому проповеди надоели не меньше, чем лавочнику фиги, поспешил отклонить это предложение и посоветовал Адамсу отдать свои проповеди в руки книгопродавца; пусть Адамс оставит свой адрес, сказал он, и ему нечего беспокоиться – ответ придет незамедлительно. И конечно, добавил он, можно без тени опасения доверить их книгопродавцу.

– О да, – сказал книгопродавец, – будь это даже пьеса, которая прошла на сцене двадцать вечеров кряду, уверяю вас, она была бы в сохранности.

---

<sup>61</sup> Джордж Уайтфилд (1714 – 1770) и Джон Уэсли (1703 – 1791) – зачинатели евангелического движения, требовавшего от своих приверженцев строгой внутренней дисциплины и соблюдения церковных заповедей, то есть «истинного рвения». Этот «метод» религиозной жизни составлял прямую противоположность латитудинаризму (см. выше). Методизм находил широкий отклик в торговой и ремесленной массе.

<sup>62</sup> Якобиты, сторонники реставрации Стюартов, отмечали 30 января день памяти Карла I, казненного в 1649 г.

Последние слова никак не пришлись Адамсу по вкусу; ему, сказал он, прискорбно слышать, что проповеди приравнивают к пьесам.

– А я и не приравниваю, боже упаси! – вскричал книгопродавец, – хотя, боюсь, цензура скоро приведет их к тому же уровню; впрочем, недавно, я слышал, за одну пьесу уплачено было сто гиней.

– Тем позорнее для тех, кто заплатил! – вскричал Барнабас.

– Почему? – сказал книгопродавец. – Они на ней выручили не одну сотню.

– Но разве безразлично, – молвил Адамс, – посредничать ли при подании человечеству добрых поучений или дурных? Разве честный человек не согласится скорей потерять свои деньги на одном, чем заработать на другом?

– Если вы сыщете таких людей, я им не помеха, – отозвался книгопродавец, – но я так сужу: тем лицам, которые зарабатывают произнесением проповедей, им-то как раз и пристало бы нести убытки от издания оных; а для меня – какая книга лучше всего раскупается, та и есть самая лучшая; я вовсе не враг проповедей, – но только они никак не раскупаются; проповедь Уайтфилда я так же рад издать, как любой какой-нибудь фарс.

– Кто печатает такую еретическую мерзость, того надо повесить, – говорит Барнабас. – Сэр, – добавил он, обратившись к Адамсу, – писания этого человека (не знаю, попадались ли они вам на глаза) направлены против духовенства. Он хотел бы низвести нас к образу жизни первых веков христианства, да и народу внушает ложную мысль, что священник должен непрерывно проповедовать и молиться. Он притязает на буквальное якобы понимание Священного писания и хочет убедить человечество, что бедность и смирение, предписанные церкви в ее младенчестве и являвшиеся только временным обличием, присвоенным ею в условиях преследования, якобы должны сохраняться и в ее цветущем, упрочившемся состоянии. Сэр, доктрины Толанда, Вулстона <sup>63</sup> и прочих вольнодумцев и вполнину не так вредоносны, как то, что проповедует этот человек и его последователи.

– Сэр, – отвечал Адамс, – если бы мистер Уайтфилд не шел в своей доктрине дальше того, что вами упомянуто, я бы оставался, как и был когда-то, его доброжелателем. Я и сам такой же, как и он, ярый враг блеска и пышности духовенства. Равно как и он, под процветанием церкви я отнюдь не разумею дворцы, кареты, облачения, обстановку, дорогие яства и огромные богатства ее служителей. Это, несомненно, предметы слишком земные, и не подобают они слугам того, кто учил, что царствие его не от мира сего; но когда Уайтфилд призывает себе на помощь иступление и бессмыслицу и создает омерзительную доктрину, по которой вера противопоставляется добрым делам, – тут я ему больше не друг; ибо эта доктрина поистине измышлена в аду, и можно думать, что только диавол посмел бы ее проповедовать. Можно ли грубее оскорбить величие божье, чем вообразив, будто всеведущий господь скажет на том свете доброму и праведному: «Невзирая на чистоту твоей жизни, невзирая на то, что ты шел по земле, неизменно Держась правил благодати и добродетели, – все же, коль скоро ты не всегда веровал истинно ортодоксальным образом, недостаточность веры твоей ведет к твоему осуждению!» Или, с другой стороны, может ли какая-нибудь доктрина иметь более губительное влияние на общество, чем убеждение, что ортодоксальность веры послужит добрым оправданием для злодея в Судный день? «Господи, – скажет он, – я никогда не следовал твоим заповедям, но не наказывай меня, потому что я в них верую».

– Полагаю, сэр, – сказал книгопродавец, – ваши проповеди иного рода?

– Да, сэр, – ответил Адамс, – почти каждая их страница, скажу с благодарностью господа, заключает в себе обратное, – или я лгал бы против собственного мнения, которое всегда состо-

---

<sup>63</sup> Философы-материалисты, поборники «естественной религии» Джон Толанд (1670 – 1722) и Томас Вулстон (1670 – 1733) видели в христианстве лишь нравственное учение, за что подвергались преследованиям: книги Толанда приговаривались к сожжению, Вулстон год провел в тюрьме.

яло в том, что добрый и праведный турок или язычник угоднее взору создателя, чем злой и порочный христианин, хотя бы вера его была столь же безусловно ортодоксальна, как у самого святого Павла.

– Желая вам успеха, – говорит книгопродавец, – но прошу меня уволить, потому что у меня сейчас так много товара на руках... и, право, я боюсь, среди торговцев вы не легко найдете охотника на издание книги, которая будет, несомненно, осуждена духовенством.

– Боже нас избави, – говорит Адамс, – от распространения книг, которые духовенство может осудить; но если вы под духовенством разумеете небольшую кучку лиц, отколовшихся от всех и мечтающих узаконить какие-то свои излюбленные схемы, принося им в жертву свободу человечества и самую сущность религии, – то, право, не во власти этих людей опорочить всякое неудобное им произведение; свидетельством тому превосходная книга, называющаяся «Простой Отчет о Природе и Цели Причастия»; книга, написанная (если позволительно мне так выразиться) пером ангела<sup>64</sup> и стремящаяся восстановить истинный смысл христианства и этого священного таинства, ибо что же может в большей степени служить благородным целям религии, нежели частые радостные собрания членов общины, где они в присутствии друг друга и в служении верховному существу дают обещание быть добрыми, дружественными и доброжелательными друг к другу? И вот на эту превосходную книгу ополчился кое-кто, но безуспешно.

При этих его словах Барнабас принялся звонить изо всей силы, и когда на звонок явился слуга, он велел ему подать немедленно счет: ибо он сидит здесь, как он понимает, «в обществе самого сатаны; и если останется здесь еще на несколько минут, то услышит, чего доброго, восславление Алкорана, Левиафана или Вулстона<sup>65</sup>». Адамс тогда спросил своего собеседника: раз его так взволновало упоминание книги, на которую он, Адамс, сослался, никак не думая, что может этим кого-нибудь оскорбить, – не будет ли тот любезен изложить свои возражения против нее, и он тогда попробует на них ответить.

---

<sup>64</sup> Эта книга епископа Винчестерского Бенджамина Ходли (1676 – 1761) произвела смятение в клерикальных кругах. Филдинг был в дружеских отношениях с епископом.

<sup>65</sup> Наряду с «языческим» Кораном и вольнодумцем Вулстоном Барнабас поминает здесь сочинение философа-материалиста Томаса Гоббса (1588 – 1679) «Левиафан» (1651).



– Мне? Излагать возражения?! – сказал Барнабас. – Я не прочел ни полслова ни в одной такой вредной книге; поверьте, я их в жизни своей никогда и не видел.

Адамс хотел было сказать слово, но тут в гостинице поднялся безобразный шум, в котором слились одновременно звучавшие голоса миссис Тау-Вауз, мистера Тау-Вауза и Бетти; однако голос миссис Тау-Вауз, как виолончель в оркестре, был ясно и отчетливо различим среди прочих и произносил следующие слова:

– Ах ты чертов негодяй, и этим ты мне платишь за все мои заботы о тебе и о твоей семье? Это награда моей добродетели? Так-то ты обходишься с женой, которая принесла тебе состояние и предпочла стольким женихам не в пример лучше тебя! Замарать мою постель, мою собственную постель с моей же служанкой! Да я ее измолочу, мерзавку, я ей вырву ее гнусные глазища! Жалкий пес, на кого позарился – на подлую девку! Будь она благородная, как я, тут еще можно было б извинить; но нищая, наглая, грязная служанка! Вон из моего Дома, шлюха!

И к этому она добавила еще другое наименование, которым мы лучше не будем оскорблять бумагу. Это было двусложное слово, начинающееся на букву «с» и означающее в точности то

же, как если бы сказано было: «собака-самка», – каковым термином мы и будем пользоваться в этом случае, чтоб никого не задеть, – хотя на самом деле и хозяйка и служанка применяли вышеупомянутое слово «с...» – слово, крайне ненавистное женщинам низшего сословия. Бетти до этой минуты все сносила терпеливо и отвечала только жалобными воплями, но последнее наименование задело ее за живое.

– Я такая же женщина, как и вы, – заорала она, – а вовсе не собака-самка; а что я пошалила немного, так не я первая, и если я грешна, как все на свете, – голосила она, рыдая, – так это не причина, чтоб вы не звали меня моим именем; иная и выше меня, а ведет себя ни-ниже!

– Ах ты, дрянь! – кричит миссис Тау-Вауз. – У тебя еще хватает бесстыдства мне отвечать? Точно я не поймала тебя на месте, подлая ты...

И тут она опять повторила страшное слово, отвратительное для женского слуха.

– Я не стерплю, чтоб меня так звали, – сказала Бетти. – Если я поступила дурно, я сама за это отвечу на том свете; но я не сотворила ничего противоестественного, и я сию же минуту уйду из вашего дома, потому что ни одной хозяйке в Англии я не позволю называть меня собакой-самкой.

Тут миссис Тау-Вауз вооружилась вертелом, но в исполнении страшного намерения ей помешал мистер Адамс, перехватив ее оружие такой сильной рукой, какую не зазорно было обладать и Геркулесу. Мистер Тау-Вауз, видя, что пойман, как говорится у наших юристов, с поличным и сказать ему в свою защиту нечего, благоразумно удалился; Бетти же отдалась под покровительство конюха, который, хоть и едва ли был обрадован случившимся, все же представлялся ей более кротким зверем, чем ее хозяйка.

Миссис Тау-Вауз, охлажденная вмешательством мистера Адамса и исчезновением врага, начала понемногу успокаиваться и наконец вернулась к своей обычной ясности духа, в каковой мы и оставим ее, чтобы открыть перед читателем ступени, приведшие к одной из тех катастроф, которые хоть и являются в наши дни довольно обыденными и, может быть, даже довольно забавными, однако же нередко оказываются роковыми для покоя и благополучия многих семей и составляют предмет не одной трагедии как в жизни, так и на сцене.

## Глава XVIII

### История горничной Бетти и объяснение причин, коими вызвана была бурная сцена в предыдущей главе

Бетти, виновница всего этого переполоха, обладала многими хорошими качествами. Она была не чужда доброты, великодушия и сострадания, но, к несчастью, ее организм составляли те горячие ингредиенты, которые чистота придворного быта или женского монастыря могла бы, конечно, обуздать, но на которые должно было оказать обратное действие щекотливое положение гостиничной служанки, ежедневно подвергающейся ухаживанию поклонников всех мастей: опасному вниманию изящных господ офицеров, коим иногда приходится простаивать в гостинице год и больше, а пуще всего домогательствам лакеев, конюхов и кучеров, причем все эти искатели пускают в ход против нее целую артиллерию поцелуев, лести, подкупа и все прочие виды оружия, какие только можно найти в арсенале любви.

Бетти, которой не было еще двадцати двух лет, прожила в таком положении три года, довольно успешно лавируя среди опасностей. Первым, кто покорила ее сердце, был некий прапорщик пехоты; он, нужно сознаться, сумел зажечь в ней пламя, для охлаждения которого потребовались заботы врача.

Пока она пылала к нему, другие пылали к ней. Офицеры армии, молодые джентльмены, проезжавшие по западному краю, безобидные сквайры и кое-кто из более важных особ были воспламенены ее чарами.

Вполне оправившись наконец от последствий своей первой несчастной страсти, она, казалось, дала обет хранить нерушимое целомудрие. Долго была она глуха ко всем воздыханиям своих поклонников, пока в один прекрасный день, на ярмарке в соседнем городке, красноречие конюха Джона, подкрепленное новой соломенной шляпкой и пинтой вина, не одержало над нею вторую победу.

В этом случае, однако, она не чувствовала того пламени, которое в ней зажигала ее прежняя любовь, и не испытала тех злых последствий, каких благоразумные молодые женщины справедливо опасаются от чрезмерной уступчивости к домогательствам своих обожателей. Объяснить это можно отчасти и тем, что она не всегда была верна Джону и наряду с ним оделяла своими милостями также Тома Уипвела – кучера почтовой кареты, а время от времени и какого-нибудь красивого молодого путешественника.

Мистер Тау-Вауз с некоторых пор стал поглядывать томно-ласковыми глазами на эту молодую девицу. Он пользовался каждой возможностью шепнуть ей нежное слово, схватить ее за руку, а иной раз и поцеловать ее в губки, потому что страсть его к миссис Тау-Вауз значительно охладела; совсем как бывает с водою: прегради ее обычное русло в одном месте, и она, естественно, ищет пробиться в другом. Миссис Тау-Вауз, как думают, стала замечать охлаждение мужа, и это, вероятно, не слишком-то много прибавило к природной кротости ее нрава, ибо она хоть и верна была супругу, как солнцу солнечные часы, но еще сильнее, чем те, жаждала, чтобы лучи падали на нее, так как более была приспособлена чувствовать их тепло.

Когда появился в гостинице Джозеф, Бетти с первого же часа возымела к нему чрезвычайную склонность, которая проявлялась все более откровенно по мере того, как больному становилось лучше, – пока, наконец, в тот роковой вечер, когда ее послали согреть ему постель, страсть не возросла в ней до такой степени и не восторжествовала так полно над скромностью и над рассудком, что после многих бесплодных намеков и хитрых подсказок девица отшвырнула грелку и, пылко обняв Джозефа, клятвенно объявила его самым красивым мужчиной, какого она видела в жизни.

Джозеф в великом смущении отпрянул от нее и сказал, что ему прискорбно видеть, как молодая женщина отбрасывает всякую мысль о скромности, но Бетти зашла слишком далеко для отступления и повела себя далее настолько непристойно, что Джозеф был вынужден, вопреки своему мягкому нраву, применить к ней некоторое насилие: схватив в охапку, он выбросил ее из комнаты и запер дверь.

Как должен радоваться мужчина, что его целомудрие всегда в его собственной власти; что если он обладает достаточной силой духа, то и телесная сила его всегда может оказать ему защиту и его нельзя, как бедную слабую женщину, обесчестить против его воли!

Бетти пришла в бешенство от своей неудачи. Ярость и сладкое желание, как две веревки, дергали ее сердце в разные стороны: то ей хотелось вонзить в Джозефа нож, то стиснуть его в объятиях и осыпать поцелуями; но последнее желание преобладало. Затем она стала подумывать, не выместить ли его отказ на себе самой. Но когда она предалась этим помышлениям, смерть, по счастью, представилась ей в столь многих образах сразу – включая омут, яд, веревку и так далее, – что рассеянный ум ее не мог остановиться ни на одном. В этом смятении духа ей вдруг пришло на память, что она еще не постелила постель своему хозяину; вот она и направилась прямо в его спальню, где он случайно был занят в это время у своей конторки. Увидав его, она хотела было тотчас удалиться, но он ее подозвал и, взяв за руку, стиснул ее пальчики так нежно и в то же время стал шептать ей на ухо так много приятных слов, а потом так донял ее поцелуями, что побежденная красавица, чьи страсти были уже пробуждены и не были притом столь капризны, чтобы из всех мужчин только один мог их унять, – хотя, быть может, она и предпочла бы этого одного, – побежденная красавица, говорю я, спокойно подчинилась воле хозяина, который как раз достиг завершения своего блаженства, когда миссис Тау-Вауз неожиданно вошла в комнату и произвела то смятение, которое мы уже видели и которому нам больше нет необходимости уделять внимание: без всякого нашего содействия и наводящих намеков каждый читатель, не лишенный склонности к умозрению или жизненного опыта, хотя бы он и не был сам женат, легко сообразит, что оно закончилось увольнением Бетти и смирением мистера Тау-Вауза, – причем ему пришлось со своей стороны кое-что сделать в знак благодарности доброй супруге, согласившейся его простить, и дать множество искренних обещаний, что такой грех больше никогда не повторится, – и, наконец, его готовностью до конца своих дней претерпевать напоминание о своих проступках раза два в сутки, как некую епитимью.

### **Конец первой книги**

## Книга вторая

### Глава I

#### Об искусстве разделения у писателей

Во всех видах деятельности – от самых высоких до самых низких, от профессии премьер-министра до литературы – есть свои тайны и секреты, которые редко открываются кому-либо, кроме как представителям того же ремесла. Среди средств, какие применяем мы, джентльмены пера, отнюдь немаловажным является прием деления наших произведений на книги и главы. И вот, не будучи достаточно знакомы с этой тайной, рядовые читатели воображают, что этим приемом членения мы пользуемся только для того, чтобы раздуть наши произведения до более внушительного объема. И следовательно, что те места на бумаге, которые идут у нас под обозначение книг и глав, применяются как та же парусина, тесьма и китовый ус в счете портного, то есть как допускаемая для округления суммы надбавка, которой отводится место у нас – в конце нашей первой страницы, у него – на последней.

Но в действительности дело обстоит не так: и в этом случае, как и во всех других, мы преследуем выгоду читателя, а не нашу; в самом деле, немало удобств возникает для него благодаря этому методу: во-первых, небольшие промежутки между нашими главами могут рассматриваться как заезжий двор или место привала, где он может остановиться и выпить стаканчик или освежиться чем-нибудь еще по своему желанию. Наши благородные читатели, может быть, и не в состоянии будут совершить свой путь иначе, как по одному такому переходу в день. Что же касается пустых страниц, помещаемых между нашими «книгами», то в них следует видеть те стоянки, на которых в долгом странствии путешественник задерживается на некоторое время, чтобы отдохнуть и окинуть мысленным взором все то, что он видел до сих пор в пути. Такое обозревание я беру на себя смелость порекомендовать читателю; какой бы живой восприимчивостью ни отличался он, я бы не советовал ему путешествовать по этим страницам слишком быстро: в этом случае, пожалуй, могут ускользнуть от его взора иные любопытные произведения природы, которые были бы примечены более медлительным и вдумчивым читателем. Книга без таких мест отдохновения напоминает простор пустынь или морей, утомляющий глаз и гнетущий душу, когда вступаешь в него.

Во-вторых, что представляет собой заголовок, придаваемый каждой главе, как не надпись над воротами гостиницы (продолжим ту же метафору), сообщающую читателю, каких развлечений ему ожидать; так что он может, если они ему не по вкусу, ехать, не задерживаясь, дальше, ибо в жизнеописании – поскольку мы, в отличие от других историографов, не связаны здесь точным взаимным сцеплением событий – одна-другая глава (например, та, которую я пишу сейчас) могут быть зачастую пропущены без всякого ущерба для целого. И я в этих надписях старался быть по возможности верен истине – не подражая прославленному Монтеню, который обещает вам одно, а дает другое<sup>66</sup>, или иным авторам титульных листов, которые, обещая очень много, на деле не предлагают ничего.<sup>67</sup>

Помимо этих явных преимуществ, такой прием членения предоставляет читателю еще ряд других; хотя, быть может, иные из них слишком таинственны и не могут быть поняты сразу людьми, не посвященными в науку писания. Упомянем поэтому только одно, наиболее явное:

---

<sup>66</sup> Основоположник европейской эссеистики, автор «Опытов» (1580) М. Монтень (1533 – 1592) придерживался свободной манеры изложения (он любимый автор Л. Стерна).

<sup>67</sup> Из средневековья шла традиция двучастных названий через союз «или». С начала XVIII в. получают распространение развернутые титулы, с перечислением всех важных событий книги (романы Д. Дефо, Дж. Свифта).

наличие глав сохраняет красоту книги, избавляет от необходимости загибать страницы, что при других условиях нередко делают те читатели, которые (хотя читают они с большой пользой и успехом) склонны бывают, вернувшись к своему занятию после получасового перерыва, забывать, на чем они остановились.

Это членение освящено древней традицией. Гомер не только разделил каждое из своих великих творений на двадцать четыре книги (может быть, во внимание к двадцати четырем буквам греческого алфавита, перед которыми он чувствовал себя столь обязанным), но, по мнению некоторых весьма проницательных критиков, еще и торговал ими в розницу, выпуская сразу только по одной книге (возможно, по подписке <sup>68</sup>). Он и был первым, кто додумался до искусства, надолго потом забытого, – издавать книги выпусками; искусства, доведенного в наши дни до такого совершенства, что даже словари расчленяются и предлагаются публике вразбивку. Некий книготорговец («в целях поощрения науки и ради удобства публики») умудрился даже продать один разбитый таким образом словарь всего на пятнадцать шиллингов дороже, чем он стоил бы в целостном виде.

Вергилий дал нам свою поэму в двенадцати книгах, что свидетельствует о его скромности, ибо этим он, несомненно, хотел указать, что притязает не более как на половинную заслугу против великого грека; из тех же побуждений наш Мильтон не пошел сперва дальше десяти; но потом, прислушавшись к похвалам друзей, он возгордился и поставил себя на один уровень с римским поэтом.

Не буду, однако же, слишком углубляться в сей предмет, как это делают некоторые весьма ученые критики, которые с бесконечным трудолюбием и проницательной остротой открыли нам, каким по счету книгам приличествуют прикрасы, а каким только простота, в особенности в отношении метафор: последние, насколько я помню, по всеобщему признанию приемлемы для любой книги, кроме первой.

Я закончу эту главу следующим замечанием: каждому автору следует расчленять свою книгу, как расчленяет мясную тушу мясник, потому что это идет на пользу и читателю и повару. А теперь, удовлетворив кое в чем самого себя, я постараюсь удовлетворить любопытство моего читателя, которому, конечно, не терпится узнать, что он найдет в дальнейших главах этой книги.

---

<sup>68</sup> В середине XVIII в. среди эллинистов получает хождение теория, согласно которой гомеровские поэмы составлялись без первоначального плана из отдельных фрагментов и песен. Филдинг уже иронизировал по этому поводу в «Путешествии в загробный мир». Издание по подписке, а также отдельными выпусками (особенно справочной литературы всякого рода) – характернейшая черта тогдашней книгоиздательской практики

## Глава II

### Поразительный пример забывчивости мистера Адамса и ее печальные последствия для Джозефа

Мистер Адамс и Джозеф уже готовились разъехаться в разные стороны, когда некое обстоятельство побудило доброго пастора повернуть обратно вместе с другом, – на что его не могли подвигнуть увещания Тау-Вауза, Барнабаса и книгопродавца: а именно, выяснилось, что те самые проповеди, для издания которых пастор отправился в Лондон, были – о добрый мой читатель! – оставлены им дома; вместо них в его седельной суме оказалось не что иное, как три сорочки, пара башмаков и еще кое-какие принадлежности, которыми миссис Адамс, полагая, что сорочки понадобятся ее мужу в путешествии больше, чем проповеди, заботливо снабдила его на дорогу.

Это открытие было сделано благодаря счастливому присутствию Джозефа при разборке седельного выюка: Джозеф слышал от друга, что тот везет с собой девять томов проповедей; и не принадлежа к тому разряду философов, по мнению которых вся материя в мире может легко вместиться в скорлупу ореха, и видя, что для рукописей нет места во выюке, куда, по словам пастора, они были уложены, юноша в недоумении воскликнул:

– Господи, сэ, а где же ваши проповеди?

Пастор ответил:

– Здесь, здесь, дитя мое; они здесь, под моими сорочками.

Но случилось так, что в этот день была им вынута последняя сорочка и выюк был явно пуст.

– Право, сэ, – сказал Джозеф, – в мешках ничего нет.

Мистер Адамс кинулся к выюку и, выразив некоторое удивление, воскликнул:

– Гм! Что за притча! В самом деле, их тут нет. Так! Они, конечно, остались дома.

Джозеф понимал, как неприятно было для его друга это разочарование, и сильно огорчился; он уговаривал пастора продолжать поездку, обещая сам вернуться к нему со всею поспешностью, прихватив его книги.

– Нет, благодарю тебя, дитя мое, – ответил Адамс, – не нужно. Чего я достигну, проживая без дела в столице, коль скоро не будет при мне моих проповедей, которые являются, *ut ita dicam*<sup>69</sup>, единственным поводом, *aitia monotata*<sup>70</sup> для моего паломничества? Нет, дитя, раз уж так выпало мне, я решил вернуться вместе с тобою к моей пастве – к чему меня с достаточной силой влечет и желание сердца. Может быть, это разочарование ниспослано мне ради моего же блага.

В заключение он добавил стих из Феокрита<sup>71</sup>, означавший всего лишь то, что «иногда идет дождь, а иногда светит солнце».

Джозеф поклонился в знак повинования и благодарности за выраженное пастором желание сопровождать его в пути; и вот потребован был счет, оказавшийся по рассмотрению на один шиллинг ниже той суммы, какую имел в своем кармане мистер Адамс. Читатель, верно, удивляется, как мог он раздобыть достаточно денег на столько дней; чтобы разрешить недоумение, не будет излишним сообщить, что пастор занял гинею у одного из слуг при карете, который был когда-то его прихожанином и хозяин которого, владелец кареты, проживал о ту пору в трех милях от его прихода; мистер Адамс пользовался у всех столь бесспорным доверием,

---

<sup>69</sup> Так сказать (*лат.*).

<sup>70</sup> Причина единственной (*греч.*)

<sup>71</sup> Древнегреческий поэт Феокрит (кон. IV – пер. пол. III в. до н. э.) – основатель жанра идиллии («пастушеская» поэзия).

что даже мистер Питер, управляющий леди Буби, одолжил бы ему гинею под самое скромное обеспечение.

Мистер Адамс расплатился, и они уже тронулись было в путь вдвоем, договорившись путешествовать по способу «проедешь – привяжешь», который очень принят у путешественников, располагающих одной лошадью на двоих. Делается это так: два путешественника трогаются в путь одновременно, один верхом, другой пешком; и так как верховой по большей части обгоняет пешего, то установился обычай, что, проехав некоторое условленное расстояние, он должен спешиться, привязать лошадь к воротам, дереву, столбу или к чему-нибудь еще и идти дальше пешком; второй, поравнявшись с лошадью, отвязывает ее, садится в седло и скачет вперед, пока, обогнав спутника, не достигает в свою очередь места, где должен спешиться и привязать коня. Такова эта система, бывшая весьма в ходу у наших мудрых предков, не забывавших, что у коня есть, кроме ног, еще и рот и что они могут пользоваться первыми только при условии, что самому коню предоставляется возможность пользоваться вторым. Эта система применялась в те годы, когда супруга какого-нибудь члена парламента разъезжала не в карете цугом, а на седельной подушке, за спиной у мужа; и важный адвокат не почитал для себя унижительным трусить в Вестминстер в мягком седле, в то время как его писец, примостившись позади него, болтал в воздухе ногами.

Адамс, настояв на том, чтобы Джозеф начал свой путь в седле, уже несколько минут шагал по дороге. Джозеф только вдевал ногу в стремя, когда конюх предъявил ему счет за кошт коня во время его пребывания в гостинице. Джозеф сказал, что мистер Адамс за все уплатил; но когда об этом доложили мистеру Тау-Ваузу, он разрешил дело в пользу конюха – и по всей справедливости, ибо это был новый пример забывчивости пастора Адамса, происходившей у него не от недостатка памяти, а от поспешности, с какою он постоянно пускался в хлопоты о других.

Джозеф очутился перед задачей, крайне смутившей его. Сумма, причитавшаяся за кошт коня, составляла двенадцать шиллингов (Адамс взял коня напрокат у своего причетника и поэтому распорядился, чтобы его кормили как нельзя лучше), а в кармане было у него наличными шесть пенсов (Адамс поделился с ним своим последним шиллингом). И вот, хоть и есть на свете изобретательные личности, которые умудряются оплачивать двенадцать шиллингов шестью пенсами, Джозеф был не из их числа. Он никогда в своей жизни не делал долгов и, следовательно, не был искушен в умении ловко выпутываться из них. Тау-Вауз склонялся поверить ему до другого раза, и миссис Тау-Вауз, пожалуй, дала бы на то свое согласие (ибо красота Джозефа произвела некоторое впечатление даже на тот кремень, который эта добрая женщина носила в груди под видом сердца). Так что, по всей вероятности, Джозефа отпустили бы с миром, не случись ему, когда он честно показывал пустоту своих карманов, вытянуть ту золотую монетку, которая уже упоминалась нами раньше. При виде ее у миссис Тау-Вауз увлажнились глаза; она сказала Джозефу, что не понимает, как это может быть, чтобы человек был не при деньгах и в то же время имел в кармане золото. Джозеф ответил, что он чрезвычайно ценит эту маленькую золотую монетку и не расстанется с нею за богатства, во сто крат превышающие состояние самого крупного владельца в графстве.

– Хорошее дело, – сказала миссис Тау-Вауз, – залезать в долги, а потом отказываться расстаться с вашими деньгами, потому что они-де вам дороги! Я никогда не слышала, чтоб золотая монета стоила больше, чем столько шиллингов, на сколько ее можно разменять.

– Ни ради спасения жизни своей от голодной смерти, ни ради выкупа ее от разбойника не расстался бы я с этой дорогой монеткой, – отвечивал Джозеф.

– Что? – говорит миссис Тау-Вауз. – Не иначе как эту монету вам дала какая-нибудь дрянная потаскушка, какая-нибудь девка, да! Будь она подарком от добродетельной женщины, вы бы ею так не дорожили! Мой муж будет дурак дураком, если выпустит лошадь из рук, не получив по счету.

– Нет, нет, конечно, я не могу выпустить лошадь из рук, пока мне не отдадут мои деньги! – вскричал Тау-Вауз.

Решение это было горячо одобрено случившимся во дворе юристом, объявившим, что мистер Тау-Вауз, совершив задержание коня, будет прав перед законом.

Итак, поскольку мы в настоящее время не можем вызвать мистера Джозефа из гостиницы, мы оставим его там и поведем нашего читателя вслед за пастором Адамсом, который, пребывая в полном душевном покое, углубился в раздумье над одним фрагментом Эхила, занимавшим его полных три мили пути, так что он ни разу не помыслил о своем спутнике.

Наконец, досучив нить своих размышлений и находясь в тот час на вершине холма, он кинул взгляд назад и подивился, что Джозефа не видно. Так как пастор расстался с юношей, когда тот собирался сесть в седло, он не мог опасаться, что произошел какой-либо подвох, или заподозрить, что спутник его сбился с дороги, такой простой и широкой; одна лишь вероятная причина представилась Адамсу: что Джозеф повстречал какого-нибудь знакомого, который и подбил его задержаться в пути для беседы.

Поэтому он решил идти потихоньку вперед, не сомневаясь, что сейчас его догонят, и вскоре дошел до большой лужи, занимавшей всю дорогу, так что не виделось другого способа преодолеть ее, как пуститься вброд, – что он и предпринял, погрузившись в воду чуть не по пояс; но только он добрался до того края, как увидел, что, взгляни он раньше за изгородь, он нашел бы тропинку, по которой обошел бы воду, не замочив и подметок.

Удивление, что Джозеф все не едет, перешло в тревогу; пастор начал опасаться неведомо чего; и, придя к решению не двигаться дальше, а если спутник не догонит его вскорости, то повернуть назад, он захотел отыскать какой-нибудь дом или заведение, где бы можно было просушить одежду и подкрепиться пинтой пива; но ничего подходящего не увидав (по той только причине, что не глянул на сто ярдов вперед), он сел у дороги и извлек своего Эхила.

Мимо проходил какой-то парень, и Адамс спросил, не укажет ли он ему, где тут будет кабак. Парень сам только что вышел оттуда и знал, что и дом и вывеска на виду; он подумал, что над ним насмеются, и, будучи угрюмого нрава, предложил пастору «держать нос по ветру и провалиться к чертям». Адамс сказал ему, что он «дерзкий нахал», – на что парень круто обернулся, но, увидев, что Адамс сжал кулак, почел за благо идти дальше своей дорогой, не обращая больше на него внимания.

Следом за ним показался на дороге всадник и на тот же вопрос ответил:

– Да рядом, друг мой, рукой подать; он у вас перед глазами, неужели не видите?

Адамс поднял глаза, вскричал:

– Воистину так! Вот он... – и, поблагодарив учтивого человека, направился прямо в кабак.

### Глава III

## Мнение двух законоведов об одном и том же джентльмене и допрос, устроенный Адамсом хозяину относительно его веры

Он только вошел в дом, потребовал пинту эля и уселся, когда у крыльца остановились два всадника и, привязав своих коней к перилам, спешили. Они сказали, что надвигается страшный ливень, который решили здесь переждать, и прошли вдвоем в соседнюю комнату, не замечая мистера Адамса.

Один из них сразу же спросил другого, видел ли он когда-либо более забавное происшествие. На что другой сказал, что он сомневается, мог ли, по закону, хозяин задерживать коня за овес и сено. Но первый ответил:

– Несомненно мог; суд в этом случае решил бы в его пользу. Мне известны такие прецеденты.

Адамсу, хоть он и склонен был, как вправду заподозрить читатель, к забывчивости, всегда довольно было намекать, чтобы он все припомнил; и, подслушав этот разговор, он тут же сказал себе, что речь, очевидно, идет о его собственной лошади и что он забыл уплатить за ее прокорм, – в чем он и удостоверился, когда расспросил джентльменов; и те еще добавили, что лошадке теперь, по всей видимости, предоставят больше покоя, чем пищи, если никто за нее не уплатит.

Бедный Адамс решил сейчас же вернуться в гостиницу, хотя не лучше Джозефа знал, как вызволить своего коня; однако пастора убедили переждать под кровом дождя, ливший теперь вовсю.

И вот путешественники принялись втроем за кувшин доброго вина. Адамс по дороге обратил внимание на помещичий дом, и когда он теперь спросил, кому этот дом принадлежит, то не успел один из всадников назвать имя владельца, как другой начал того честить самыми отборными ругательствами. Едва ли найдется в английском языке хоть одно бранное слово, которого не выложил он по этому случаю. Мало того, он обвинял помещика в разных неблаговидных делах: когда тот охотится, ему все равно – что поле, что дорога; он обижает бедных фермеров, пуская коня куда вздумается и вытаптывая их пшеницу; а если кто из обиженных самым смиренным образом попросит его объехать кругом, он тут же правит суд арапником. Да и в других отношениях это величайший тиран для соседей; он не позволяет фермеру держать у себя ружье, хотя бы у того и было законное разрешение; а в доме он такой жестокий хозяин, что у него ни один слуга не прожил и года.

– В качестве судьи, – продолжал джентльмен, – он так лицеприятен, что осуждает или оправдывает, как ему заблагорассудится, нисколько не считаясь с правдой или доказательствами. . . . Только дьявол стал бы тянуть кого-нибудь к нему на суд; я бы лучше согласился быть подсудимым у какого угодно другого судьи, чем истцом у него. Если бы я владел землей в этих краях, я бы скорее продал ее за полцены, чем стал бы жить по соседству с ним!

Адамс покачал головой и выразил свое прискорбие по поводу того, что таким людям «позволяют безнаказанно вершить свои дела и что богатство может ставить человека над законом». Когда вскоре затем хулигатель вышел во двор, джентльмен, который первым назвал имя помещика, стал уверять Адамса, что его спутник судит несколько предубежденно. Может быть, и правда, сказал он, что этому помещику случилось во время охоты потравить чье-нибудь поле, но он всегда полностью возмещал пострадавшему убыток; а насчет тиранства над соседями и отбирания у них ружей – это далеко не так: он сам знает фермеров, которые, не имея разрешения, не только держат у себя ружья, но и стреляют из них дичь; для своих слуг – это самый

добрый хозяин, и многие из них состарились у него на службе; это лучший мировой судья в королевстве и, как ему достоверно известно, немало трудных споров, отданных на его суд, разрешил с высокой мудростью и полным беспристрастием. Нет сомнения, что иной владелец предпочел бы заплатить втридорога за имение возле него, чем поселиться под крылом другого какого-нибудь большого человека. Джентльмен едва успел закончить свой панегирик, как его спутник вернулся и сообщил, что гроза пронеслась. Оба тотчас сели на коней и ускакали.

Адамс, крайне смущенный этими столь несходными отзывами об одном и том же лице, спросил хозяина, знает ли он названного джентльмена: а то ему уже почудилось, что те по недоразумению говорили о двух разных джентльменах.

– Нет, нет, сударь! – ответил хозяин, хитрый и ловкий человек. – Я превосходно знаю джентльмена, о котором они говорили, знаю и джентльменов, говоривших о нем. Что до езды по чужим хлебам, то, насколько мне известно, он вот уже два года не садился в седло. И что-то не слыхивал я, чтобы он когда чинил такого рода обиды, а насчет возмещения скажу вам: не так он любит сорить деньгами, чтобы доводить до того. И никогда я не слышал, чтоб он отобрал у кого ружье; нет, я даже знаю многих, у кого есть в доме ружья; а вот чтобы у него стреляли дичь, так по этой части нет человека строже: посмел бы только кто, так он бы того со свету сжил. Вы слышали, один джентльмен говорит, что он для своих слуг самый дурной господин на свете, а другой, что самый лучший; я же со своей стороны скажу: я знаю всех его слуг, а никогда ни от одного из них не слышал, что он плох или что он хорош...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.